

Никос КАХТИЦИС  
Греция

# БАЛЖОН

(Перевод Жанны Таировой)

*Эти страницы, которые стали основой данного повествования, я бы даже хотел сказать — книги, я нашёл отсыревшими от тропической плесени среди вороха ненужных бумаг, предназначенных для сожжения, в подвале одного книжного магазина, где я тогда работал сортировщиком. Речь в них идёт о последних минутах жизни некоего субъекта, исповедующегося в своих проступках.*

*Прежде чем я их представлю на суд греческой общественности, понимающей толк в искусстве, я считаю своим долгом этими косноязычными строками публично поблагодарить в прошлом санитара, а ныне офицера армии спасения одной иностранной державы господина Реалона Деларьена за помощь, оказанную мне при переводе с фламандского, на котором и была написана эта исповедь. Там, где я счёл необходимым, я сделал небольшие изменения: что-то добавил, что-то убавил.*

*И еще. Обращаю внимание читателя на то, что в течение многих лет я напрасно пытался установить контакт с властями колонии и северной Европы, чтобы выяснить подлинное имя автора. По-видимому, оно останется навсегда неизвестным. В связи с этим оставляю за собой право на издание и некоторых других его записей, находящихся у меня на полках неразобранными.*

Издатель

Пишу, будучи в Центральной Африке 27-го или 28-го июня 19... в 3 часа ночи. Тружусь с первыми воронами\* в библиотеке, способной вместить целую роту, на моей собственной вилле, что приютилась на окраине города в устье реки Вури и где я вот уже семь лет живу в полном одиночестве.

Я, нижеподписавшийся С. П., бывший антиквар и владелец гостиниц, в прошлом хорошо известный житель города Ганди, заявляю с ответственностью, осознавая последствия, к которым ведёт дача ложных показаний, что я нахожусь на грани экономического банкротства, что с психикой у меня не всё в порядке, а здоровье моё расшатано до предела. Последнее я приписываю не столько прожитым годам, сколько возникающим в связи с воспоминаниями и угрызениями совести бессоннице и беспокойству, а также мучительному ревматизму. Вот и сейчас, когда я пишу, у меня на руках длинные перчатки и я с трудом сжимаю ручку.

Заявляю также в этот утренний час, когда, быть может, мне легче всего подписывать себе обвинительный приговор (приглашаю интересующихся воспользоваться удобным случаем), что два недавних инцидента переполнили чашу моего терпения. И теперь я вижу, что мне не остаётся ничего другого, кроме смерти.

Ещё я заявляю, даже если меня слушают разве что летучие мыши, комары, духи, мебель с отвратительным скрипом, неосмотрительно привезённая мною из Европы, и, наконец, дождь, не собирающийся прекращаться вот уже несколько дней, что так или иначе я не вижу смысла в жизни. И что если — да не случится это! (говорю это с иронией) — однажды моя прислуга найдёт меня лежащего ничком на полу, в белой одежде, залитой кровью, или умершего от отравления или от чего-то ещё (в голо-

\* Вороны начинают трудиться и искать себе пропитание, прежде чем забрезжит рассвет (Прим.переводчика).

ве у меня вертится много идей), это случится по моей собственной вине; если же по вине кого-то другого, тем лучше. Я хочу предупредить: никто из моей прислуги не должен быть обвинён, хотя любой из них, очевидно замученный моими причудами, имел бы право жестоко меня избить. Даже если что-то в этом роде будет признано мудрым отрядом полиции, приходящим в колонию не менее шести раз в день только для того, чтобы поесть, я оправдываю своих убийц заблаговременно и не только потому, что я этого стою, в чем вы убедитесь в дальнейшем, но и потому, что я чувствую острую необходимость покончить с моим состоянием. Не забыть бы мне в конце заявления подписаться. Я оставлю его на видном месте, на моей подушке, или нет, за стеклом книжного шкафа, чтобы его обязательно нашли. Нет, лучше я его оставлю в моём банковском сейфе вместе с моей исповедью. А может быть, отправлю властям в запечатанном конверте с просьбой, чтобы его вскрыли после моей смерти. В общем, надо подумать, как мне поступить.

В смерти моей прошу не винить ни одного из моих врагов, приобретённых мною на родине во время войны. Они не смогли бы обнаружить меня в прибежище, которое я обрёл. Я изменил своё имя. Живу в колонии, принадлежащей другой стране, так что ищи-свищи. Я обеспечил себе полное сохранение тайны, хорошо заплатив почтенным лицам, знающим своё дело. Те, кто устроил моё бегство, абсолютно не в курсе, кто я. Мои друзья детства, и те не знают, где я нахожусь. Некоторые думают, что я умер в общей неразберихе войны. Я имею в виду последние её дни. Откуда им знать! К слову, было бы непростительно, если бы я не отметил тёплыми словами благодарности практически мне неизвестного господина Ф., проявившего ко мне благожелательность и оказавшего мне помощь, снабдив меня необходимыми документами за относительно скромную сумму, которую я сам пожелал ему вручить. Молодец, пусть живёт и здравствует! Я слышал, что он отошёл от будничных дел и наслаждается благами безмятежной жизни в своём цветущем саду. Как мне известно, он его прекрасно оформил.

В сущности, я перестал бояться вот уже семь

лет, с тех пор, как ступил на трап корабля и совершил на нём, по общему признанию, сказочно красивое путешествие. Единственный человек, которому известно, кто я есть на самом деле, находится здесь. Впрочем, к чему мне всё это? Зачем я сижу и морочу себе голову всем этим в минуты, когда, как я отметил выше, единственное, что меня волнует, это чтобы враз наступил конец. Мое великодушие не имеет предела. Искупаю заблаговременно вину моих убийц. Вот такой я идиот.

В подтверждение того, что я не шучу, добавлю, что я хотел бы, чтобы смерть настигла меня в одной из моих бесцельных вылазок в самую глубь джунглей, совершаемых мною словно обезумевшим, в полном одиночестве, в тревожном ожидании, только бы убить время и устать, чтобы вечером суметь хоть ненадолго уснуть — даже если знаю, что всё это только полумеры. Наконец, я хотел бы, чтобы меня убил солнечный удар. Однако очень сомневаюсь в таком исходе, потому что имею обыкновение охотиться в тени.

Кроме того, я заявляю, что даже моё путешествие, такое длительное, о котором я мечтал ещё в детстве во время летних туманов на моей родине, на одном из побережий, где находилась наша вилла и куда мы ездили всей семьей, не смогло мне принести желанного покоя. Позднее я понял, что червь мучительного беспокойства точит меня всюду, где бы я ни находился. Время моё, как это видится задним числом, бежит со скоростью стрелки манометра. Хотя, когда я его проживаю, оно мне кажется нескончаемым и в течение дня растрачивается на сон. Я дошёл до того, что снимаю постоянный номер в гостинице, находящейся внизу, в городе, и использую его, когда мне захочется. Часто ночью, в полубреду, лёжа на кровати, я ощущаю вершину конического полога от комаров, зовущую меня так, словно душе моей предстоит улететь, а моему телу остаться здесь, в темноте, на постели. Иногда это ощущение погружает меня в сладчайший сон... Если бы и сейчас случилось что-либо в этом роде... Если бы было возможно умереть подобным образом... Однако я знаю, что, как только приму решение лечь в кровать, начну бредить бог знает сколько времени, часами. Что-то удерживает меня, словно пригвождённого, в кресле моего кабинета.

И ещё: я не могу привыкнуть к этому пейзажу, сколько ни стараюсь. В молодости, работая антикваром, мне довелось доехать до далёкого Индокитая, где я прожил больше года. Ни на мгновение я не впадал в уныние, хотя климат там был такой же. Что происходит со мной здесь? Не знаю. Мои мысли витают где-то, над любимыми мною пейзажами, потому что со здешними ничто меня не связывает. Это ощущение будет преследовать меня до тех пор, пока я не умру. Я знаю, где меня похоронят на кладбище, заплесневелом в буквальном смысле этого слова (от сильной влажности здесь плесневеют даже камни), на том, у которого мы сворачиваем к гостинице. Мимо него я вынужден проходить каждый день, совершая мои регулярные прогулки. Ирония судьбы! Еще будучи ребенком, я не хотел знать, где меня похоронят. Я буквально цепенел от этой мысли и в течение целого дня не мог думать ни о чем другом. Отгоняя эту мысль, я мечтал о славных битвах, где я мог бы пасть от пули, о трагедиях в горах, которые я будто бы покорял, об авариях поезда — только бы меня похоронили в краю, о котором я прежде не знал. Я был способен, если бы имел средства, путешествовать всё время, только бы не знать о месте своего захоронения.

Однако вернусь к тому, что я говорил о кладбище. Добавлю одну довольно веселую деталь. Проходя мимо него, я не могу не барабанить пальцами, как ребёнок, по ржавым прутьям ограды. Я твержу себе всё время, что надо оставить эту привычку, чтобы надо мной не посмеивались, но в последнюю минуту забываю об этом. В общем, то, что я признаю эти мои странности, подтверждает, что я не спятил, чего я также боюсь. Между могилами и на тропинках разрослось чёрт знает что. Такими я представляю себе сады преисподней. Много раз я останавливался и смотрел в глубину кладбища. Остаётся надеяться, что я умру не в сезон дождей, потому что, когда я думаю о дожде, который мне придётся поглощать под землёй в течение многих недель, меня охватывает дрожь... То, к чему я больше всего питаю отвращение, — это к влаге земли, способной проникать капля за каплей через облекающие меня доски... Не говоря уже о том, что в про-

тивном случае мои бывшие друзья будут втаптывать меня в грязь, конечно, в дождливый день, вспоминая обо мне и попивая виски в салоне «Атлантик» (так называется гостиница).

Читающий эти строки удивится: почему меня интересует, что будет со мной после того, как я перестану что-либо чувствовать. И всё же мысли такого рода продлевают мою пытку.

Обо всём этом я думаю каждый день. Я способен ещё оценить и свой внешний облик. Белая, всегда хорошо выглаженная моя верхняя одежда (это тоже начало меня беспокоить!) и шлем исследователя, который я додумался привезти с родины, будто такие шлемы не продаются в здешних магазинах тысячами, придают мне нелепый вид. Я это понимаю, мне стыдно за себя, до чего я докатился. Всё это я повторяю себе всякий раз, когда, освежившись после холодного душа, одеваюсь, стоя перед зеркалом. Я выгляжу карикатурно: шорты, худые ноги, сквозь чесоточную кожу которых пробиваются редкие жесткие волосы, отвислый живот, который я стараюсь затянуть. Не говоря уже о том, что все мои зубы полностью сгнили. Прогуливаясь по главной улице или в гостинице, я пытаюсь скрыть от других своё уродство. А когда смеюсь, что случается раз в сто лет, я делаю всё возможное, чтобы никто не увидел моих зубов — что намного хуже, чем если бы я их показывал. Ночами в кошмарных сновидениях я мечтаю, чтобы они выпали однажды с таким треском, с каким рушатся дома. Глава префектуры и до недавнего времени мой друг приписывает это воде. Он сам потерял их все. У него вставная челюсть. Он ворочает её языком из стороны в сторону, словно хамелеон — глазами, и даже вынимает её без тени смущения на официальных приёмах. Ясно одно — эта челюсть сделана на скорую руку, без учета возраста. Когда он улыбается, кажется, что перед тобой молодой человек. Но как же неестественна эта улыбка!

Однако вернемся к моей внешности. Эти затравленные глаза с чёрными полукружьями — результат бессонниц и отчаяния?! Этот висячий двойной подбородок, делающий меня похожим на бульдога. Эти... Нет, это даже хорошо, что я всё это признаю, ведь другие пытаются скрыть то, что шито белыми нитками.

Время тикает, а сна ни в одном глазу. Драма моя заключается в том, что у меня нет никого, кто бы мог помочь мне избавиться от всего этого, сам же я совершенно безволен. Это и есть наихудшее наказание, которое только может быть. Проклятие. Если бы я знал, что говорю в эту минуту! Уснуть бы хоть ненадолго. Меня изнурило виски. Изжога измучила меня. Сегодня я ничего не ел. Прогнал с бранью слугу, принёсшего мне еду на подносе. О, если бы я знал, каков мой конец? Сколько продлится такое состояние? Найдётся ли кто-нибудь, кто поможет мне от него избавиться? Увы, не знаю...

— 2 —

Я проснулся в хорошем расположении духа, в своем соломенном кресле с рукописью в руках. Я помню, что взял ее с собой, устраиваясь в кресле в кабинете. Помню также, что я так хотел спать, что даже не реагировал на жужжавших у самого уха мух, которые всегда меня так раздражали. В конце концов меня убаюкал дождь — я приложил к этому все усилия и боялся даже пошевелиться, чтобы, не дай Бог, не спугнуть наваливающийся на меня сон.

Пока я спал, дождь прекратился. Наконец-то! Зачем же мне думать о плохом... Только не надо смотреть в окно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Меня раздражает этот чахоточный, насквозь промокший день. Красная земля, деревья, листва, в которой утопает моя вилла, всё пропитано влагой, всё истекает ядом. Распространяется сырой запах растений, приводящий меня в ярость. Именно таким было всё вокруг в то утро, когда мы сошли с корабля, потому что это было примерно то же самое время года. И всё же я распахиваю окно и вглядываюсь в шоколадного цвета воды реки Вури. Отсюда, сверху, в самом деле открывается великолепный вид — ведь вилла моя находится так высоко, что все внизу как на ладони. Половодье. Какие-то несчастные негры на пирогах стараются одолеть волны. Не могу понять, почему я их называю несчастными, как будто я сам счастлив.

В эти минуты мне вдруг захотелось продолжить рукопись. Сознание моё прояснилось. Чуть раньше я позвал слугу, и он принёс мне таз с горячей водой и поваренной солью, растворённой в ней в небольшом количестве, очень помогающей преодолеть боль в ногах. Пишу, а таз находится под столом. Я выпил также немного виски, принял положенную дозу хинина. Мне стало легче...

Но пусть не покажется тому, кто прочтёт когда-нибудь эту рукопись, что будто бы я вдруг отказываюсь от всего написанного. Напротив. Достаточно сказать, что, прежде чем я взял в руки перо, я перечитал всё написанное. Мне ничего не стоит написать значительно больше, но какой в этом толк! Чем больше я страдаю от осознания своего положения, тем хуже оно становится.

В начале рукописи я упомянул о двух инцидентах, приведших меня в состояние сильного возбуждения. Но какой логически мыслящий человек не переживал бы это так же, как и я? Любой может оправдать моё такое беспокойство, если я опишу то, что со мной происходит. Самое ужасное — это то, что я не могу никому довериться. Все меня покинули. Я не переписываюсь ни с кем на родине в силу причин, которые станут понятными прочитавшему эту рукопись позднее. Иногда в нескончаемых моих прогулках по окружающим нас джунглям я бреду, разговариваю с деревьями, споткнувшись по рассеянности о стену, обращаюсь к ней словно к человеку и прошу у неё прощения. Все мои чувства окаменели. Скоро превращусь в статую. Но лучше оставлю эти плоские шутки, выдающие гложущее меня отчаяние.

По правде говоря, были у меня здесь и счастливые минуты. Я могу вспоминать их только с ностальгией. Было время, особенно в первые годы, когда постоянно случались приятные неожиданности: официальные приёмы в префектуре, обеды в моём доме, прибытие какой-нибудь танцовщицы из Европы, появление на улицах и в баре «Атлантик» кого-нибудь из новоприбывших. Мне нравилось также посвящать себя самому себе, моим книгам, моим вещам, оставаться наедине с собой, что бывало так редко. Меня приняла в свой круг глава префектуры и некоторые другие лица, владевшие плантациями, гостиницами, магазинами.



В этот круг почти никого не допускали. Вечерами мы играли в карты, бывали в их домах, иной раз в салоне гостиницы, иногда у меня дома. Один из самых неразлучных моих друзей, и, конечно, один из первых, был глава префектуры, что больше всего удивит того, кто прочтёт последующие строки. Не было дня, чтобы мы не виделись. Так продолжалось до последних дней. Но о нём позднее. Вечера танцев, проходившие в моём доме, имели большой успех. Но разве эти люди виноваты в том, что я их прогнал своими сетованиями на судьбу, ностальгией и безрассудством. Скоро все мои комнаты покроются паутинами. Я довольтвуюсь кабинетом и спальней, словно в другие комнаты мне путь запрещен.

Чего только я не привёз с родины! Буквально разобрал на части весь мой дом как он был. Все вещи, я мог бы сказать, встали на те же самые места в разных комнатах, на которых находились и прежде. Я на этом очень настаивал. Вначале, прежде чем я разобрался в здешней обстановке, я жил много месяцев в «Атлантик». С тех пор и до самого последнего времени у меня там был постоянный номер. Я пытался приобрести дом, но безрезультатно, так как большинство домов соседствовало со складами какао или бананов, а я не переношу их запах. Этот дом мне нашёл один человек; с ним я познакомился случайно в баре. Я не поверил своим глазам, когда однажды утром увидел, как негры-грузчики один за другим тащили на плечах, а некоторые и на голове, от набережной до переднего двора дома мои чемоданы и резную мебель. Я обустроился, сделав необходимый ремонт, изменив назначение некоторых комнат, покрасив их, установив новое оборудование в ванной и на кухне, словно мне предстояло прожить ещё одну жизнь. Так мне казалось... И если я говорю об этом, то только для того, чтобы подчеркнуть, как я ошибся в своих планах. Думал, что такими полумерами я мог продлить своё прошлое.

Дом мой двухэтажный, есть также мансарда и подвал. Окна верхнего этажа восточной стороны, в комнатах которой находятся гостиная, спальня и ванная комната, выходят на холм, имеющий форму стола и поросший разнообразными тропическими растениями и деревь-

ями, которые только можно себе представить. Западная сторона — это та, что я описал раньше, сторона, выходящая к Вури. Сейчас, когда я пишу, я вижу её из окна. Но к чему я всё это? Нет, опишу-ка я и сад. Мой сад, имитация в миниатюре городских садов Европы, представлял собой, особенно вначале, что-то необыкновенное, что восхищало любого, кто приходил. Я пригласил классных садовников, завербовавшихся из какой-то соседней колонии ради куска хлеба. Единственной заботой их было смотреть за садом: тут срезать ножницами, там подрезать ветки, сажать, опрыскивать, поливать. Декоративным растениям они придавали разные формы геометрических фигур или птиц. Проснувшись утром, из какого бы окна я ни смотрел, взору представлялась благодать. В целом, в то время ещё жизнерадостный от того, что мне удалось избежать опасности, я наслаждался всем.

Всё, всё закончилось теперь. Закончилось с тех пор, как перестали приходиться ко мне гости. Редко кто навещает меня теперь. Даже Питер (мой юный друг) забыл обо мне. Раньше он приходил ко мне почти каждый субботний вечер, с плантации, где многие годы подряд работает управляющим. Я оставлял его ночевать у себя, чтобы избежать от гостиницы. Я предоставлял ему всегда одну и ту же комнату, которую в конце концов он стал воспринимать как свою собственную. Он посвящал меня во все тайны колонии. Он считал, что грибки на теле развиваются от влажности (всё мое тело покрыто ими, особенно их много в скрытых местах, несмотря на все врачебные средства). Он учил меня, чтобы я не ел кончиков бананов, потому что в них собираются микробы, и чтобы я не ел много яиц и шоколада, будто я когда-нибудь в жизни их ел... За полночь, уставшие от разговоров, мы погружались в книги. Каждый день, так же, как и я, он вёл дневник. Его целью было собрать в кубышке деньги, вернуться в Англию и посвятить себя написанию разных историй об Африке. Он собирал материал уже сейчас; записывал сразу же, прежде чем мог что-то забыть, на месте, всё, что попадало в сферу его восприятия. Каждый расход, даже очень маленький, он отмечал в своей книжечке, находив-

шейся всегда в его кармане. С тех пор, как я с ним познакомился, он носил всегда одну и ту же одежду цвета хаки, напоминающую военную форму...

Теперь я его лишился. Он тоже покинул меня.

### – 3 –

Я хотел рассказать только историю, рассказать о причинах, приведших меня в такое состояние, но втянулся в эти скучные подробности. Возвращаюсь сразу же к теме. То, что я опишу, случилось со мной много дней тому назад, сколько, не могу сказать. Я потерял чувство времени — да я и часы-то забываю носить.

Было утро, может быть, чуть раньше или чуть позже. Не могу сказать точно. Вдали, на востоке, над вершинами вековых деревьев, розовел горизонт. День обещал быть прекрасным и солнечным.

Я сидел на балконе гостиницы «Атлантик», глядя, по привычке, в сторону Вури, за тем же, если мне не изменяет память, мраморным столиком, где мы с префектом сидели вдвоём в прошлый вечер и после легкого ужина играли в пинакл\* (он проиграл).

К моему большому удовольствию, вокруг на балконе и даже в самом салоне в это время не было ни одного посетителя, никого, кроме официантов, к тому же кому бы взбрело в голову выйти на балкон в такой час. Я говорю об этом, потому что это имеет значение. Но в воздухе, особенно в баре, витало нечто, напоминающее, что здесь было много людей, чье присутствие я установил ещё лежа в постели, когда был в полном отчаянии. Они пришли сюда, чтобы провести наступающее воскресенье. Но, подчёркиваю, они поднялись затем в свои номера.

Не сомневаюсь, что если бы они, бесчувственные, не разбудили меня, это тягостное испытание обошло бы меня. Если бы я ещё спал, была бы надежда на то, что события дня могли принять другой оборот. Но что я, дурак, говорю? Ладно, оставим это. Кстати, забыл сказать, что, кроме этой, я пережил ещё одну

кошмарную ночь. О ней, по-видимому, не стоит упоминать. Меня сводил с ума ещё и шум проклятых летучих мышей, а также шелест листвы, доходившей до окон гостиницы, будто мне не хватало всего остального. Многие часы меня, лежащего под пологом при выключенном свете, занимало притворство полковника, становившегося невыносимым, когда он бывал не в духе. Часами я не мог сомкнуть глаз. Курил непрерывно сигареты, одну за другой. К тому же я невнимателен. Однажды вечером я заснул с горящей сигаретой, чуть было не загорелся полог и вместе с ним не сгорел и я сам. (Вот ещё одно идеальное решение. Я его включу в число способов лишить себя жизни...) Устремив взгляд высоко, в вершину полога, принимавшего в свете неясных уличных огней зловещие очертания, я вызывал в памяти образ полковника, стараясь угадать, что он хотел сказать своими намёками. То он облизывал губы, то поигрывал нервно со вставной челюстью, то проклинал официантов, не спешивших принести ему виски. Он использовал в своей речи оскорбительные слова, пошлости. Меня он всегда занимает больше после того, как мы расстаёмся, чем тогда, когда мы вместе. Он мне сказал, что приближается время, когда всё всплывет на поверхность, что мы должны отчитаться за наши поступки. Ещё он мне сказал, что, если мы не отчитаемся сейчас, в этой тщетной жизни, придется отчитываться уже за чертой — в другом мире.

Начав с него, мой мозг стал перебирать и других, другие мне напомнили третьих, и так я дошёл до того, что уже в сотый раз стал ворошить в течение нескольких часов всё своё прошлое. Начал обвинять самого себя, представлять себе с ненавистью образы тех, что были повинны в моей судьбе. Паника при мысли, что я мог и в эту ночь потерять сон, была неподдельной. Я использовал все ухищрения. Сосчитал от одного до тысячи и обратно, не знаю сколько раз. Но не помогло...

Я долго рыдал, не в силах успокоиться в течение многих часов. Только к трём часам ночи сон, наконец, одолел меня. Я спал до тех пор, пока меня не разбудили голоса внизу. Несмотря на то что в глубине души я их проклинал и что один только Бог знает, как мне нужен сон, я вскоре

\* Американская карточная игра. (Прим. переводчика)

воспринял пробуждение как спасение. Я вспомнил, что на тот день на одиннадцать часов я начал свидание дочери полковника, чтобы совершить с ней автомобильную прогулку до магазина госпожи Герэн, собираясь сделать ей сюрприз — купить духи. Отчасти это, отчасти таинственные краски дня, проникающие сквозь ставни, наполнили меня радостным ожиданием, так что мне хотелось летать. Я ринулся в ванную комнату так, будто я опаздывал на поезд... Оставил свой номер, как он был — простыни, пологи, грязное нательное бельё, пепел от сигарет, отчего горничные пришли в ужас.

Опрометью я спустился по лестнице, не обращая внимания на насмешливые и лицемерные поклоны встретившихся мне двух официантов. Я стремительно вышел на балкон и быстро занял своё место, будто его мог занять кто-то другой, хотя вокруг не было ни души.

\* \* \*

**Я** постараюсь, насколько это возможно, обновиться сейчас на событиях и как можно точнее их описать, ничего не фантазируя. Только так я смогу пролить свет на муки, испытываемые мною тем утром, даже если знаю, что напрасно прилагаю усилия. И всё же малейшая подробность может иметь значение. Мой разум то расслабляется, то напрягается — так настраивают телескоп, пытаюсь добиться ясности изображения. Я чувствую, что события находятся под полным моим контролем, точно так же, как это бывает при работе этого прибора.

Сейчас, когда я пишу, передо мной простирается пейзаж, подобный тому, что видится с балкона. С того места, где я нахожусь, кажется, что от реки, кофейного цвета воды которой словно застыли, образовав озеро, и будто вот-вот медленно перельются через край, поднимается пар; туман, как возникающие иногда провалы в памяти, в некоторых местах рассеивается и обнажает пирогу, напоминающую формой и цветом кожуру завядшего банана. Её, никем не управляемую, уносит незаметный поток; похоже, что негр, находящийся на ней, спит. Вполне возможно, потому что я вижу его согбенного с поникшей на грудь головой. Ещё немного, и я ска-

жу, что вид похож на японский пейзаж, знакомый нам из книг, и всё это, потому что на противоположном берегу виднеются сквозь туман белые дома, разбросанные среди деревьев как пагоды. Справа, там, где местность как бы естественно принимает форму небольшого плеча, одиноко возвышается огромная финиковая пальма, на ветках которой я отчётливо различаю перистые листья. Кажется, будто она намного ближе, чем это есть на самом деле.

От подножия этого небольшого косогора до палисадных гостиницы и до берега реки расстилается местность, сплошь покрытая травой темно-зелёного цвета из-за постоянной утренней росы, совершая по которой нерешительные движения, словно бояться повредить свои хрупкие ножки, там и здесь ходят на цыпочках белоснежные тапочки, кажущиеся лилиями.

Сколько же, сколько же раз я мысленно возвращался к той сцене, которая, я уверен, все та же, сколько бы ни прошло времени, — к сцене, где я, сидящий в глубоком соломенном кресле, слегка откинулся назад, забросил ногу на ногу, так что носок туфли смотрит в небо, а за моей спиной чуть наискосок видны сводчатые двери гостиницы, открытые настежь. Так как ещё рано, свет не может проникнуть через них в глубину помещения, где находится бар с разноцветными напитками на витрине. Некоторые из них приятно освещены электрическим светом, отражающимся от зеркал. Я всё это ощущаю. Внизу при свете хрустальной люстры возятся официанты. Они готовят зал для воскресенья с шумом, доносящимся издали и потому меня не беспокоящим. Сейчас я вспоминаю (сейчас, когда всё это пишу), что, прежде чем выйти на балкон, спускаясь по лестнице, я видел, как они убирают со столов обеды и остатки выпивки после посетителей, пришедших с плантаций. Добавлю ещё: я сижу, защищённый с одной стороны стеной веранды, с другой — огромным цветочным горшком с папоротником. А справа от меня находится мраморный столик и на нём пачка сигарет и мой кофе.

Не помню, о чём именно я думал в ту минуту. Наверняка ни о чём, увлечённый пейзажем. И вдруг я почувствовал, что что-то вроде соломинки, вроде волоска или паучьих лапок щекочет

меня в самом чувствительном месте за ухом и вызывает во мне легкую дрожь. Сначала я не придавал этому значения, ведь такое бывает, однако это не прекращалось. Взмахом руки я попытался прогнать это ощущение. Мне это удалось. Немного спустя это назойливое щекотание возобновилось, казалось, что кто-то держал в руках соломинку и делал это нарочно, чтобы заставить меня нервничать.

Я поднялся с кресла и стал нервно размахивать в воздухе руками вправо-влево, чтобы изгнать навсегда из окружающего меня пространства то, что мне доставляло беспокойство. После чего я снова свалился в кресло, возмущенный, словно имел дело с человеком.

Меня осенила мысль, вызвавшая легкую улыбку, и тотчас же внутри меня зажглось негодование ко всей колонии. Я решил, что кто-то шутит, что какой-то умник нашёл время резвиться таким ребяческим способом и, убегая, прячется за цветочным горшком, таким же, как тот, что защищал меня со спины. Мне померещилось, что он был босой, что он был существом бестелесным. Да, именно бестелесным. Я почувствовал, как от этой мысли мурашки побежали по моему телу. Я это хорошо помню. Тот же самый ужас я испытываю и сейчас, когда пишу. Не важно, что после произошедших за это время событий, осмысливания случившегося и одной совершённой мною поездки в глубь колонии мне стало немного легче на душе.

Делая вид, что я наблюдаю за цаплями, изображая свою индифферентность к происходящему, я решил, улучив момент, наброситься на него с переполнявшей меня яростью и просто переломать ему руки. Напрасный труд. Казалось, он прочитал мои мысли. Ничего необычного не произошло. Я подождал ещё какое-то время, которое показалось мне вечностью. Наконец мне это надоело. Я решил не спеша подняться и забыть об этом отвратительном происшествии, пройдясь до дома пешком. То, что я прогуляюсь по утренним улочкам, благоухающим ароматом мускатного ореха, особенно в районе моего дома, воодушевило меня. К тому же мне следовало переодеться поприличней, так как у меня предстояла встреча с дочерью полковника. А то, куда бы я ни шёл, я появлялся в помятой одежде.

Я собирался это сделать и уже был готов подняться с кресла, как вдруг почувствовал сзади на моей шее, над чистым воротничком, да, да, я не ошибаюсь, тёплое дыхание человека. Вместе с тем я услышал какое-то непонятное бормотание, исходящее изнутри, из глубины его груди. Слова произносились спящим, разговаривающим во сне. Кроме слов, я услышал ещё и какой-то сдержанный хохот. Я не мог понять, кому он принадлежит: сумасшедшему или идиоту. Только в одном я был уверен, что он проявлял полную нерешительность, погрузившую меня в печаль, смешанную с ужасом. Из того, что он говорил, я не мог разобрать ни слова. Вполне возможно, что я бы понял кое-что и что мне всё казалось непонятным из-за моего состояния. К тому же я сомневаюсь в том, что он произнёс более пятидесяти слов. Если бы я сказал, что от всего происходящего моё дыхание прервалось, этого было бы мало. Позволю себе написать фразу, которая вызовет отвращение ко мне любого, кто когда-либо прочитает её в этой рукописи: дыхание его было не только тёплым, но ещё и упорно навредило на мысль о том, что оно принадлежит желобольному, чтобы не сказать умершему. Почему бы и не сказать, если так оно и было. Читая здесь, в колонии, много и разного — на родине я не читал серьёзную литературу — я увлёкся темой распространения чумы в различных средневековых городах. Короче говоря, я уверяю читателя рукописи, снисходительности которого настойчиво добиваюсь, что такой же смрад испускали бы жертвы и этой проклятой эпидемии.

Между тем я всё больше терял самообладание, так как он не собирался оставлять меня в покое. С другой стороны, меня доводила до бешенства мысль о том, что он всё это время вертелся таким образом за моей спиной, о чём я не догадывался, не говоря уже о том, что он исчезал, когда ему вздумается, таким же коварным способом. Но самое главное я ещё не сказал: я написал, что он не собирался оставлять меня в покое. Но неужели я сам не мог ускользнуть от него? Нет, не только не мог, но такая мысль не приходила мне даже в голову. Я замер в кресле и внимательно следил, чтобы оно не скрипнуло, чтобы я был в состоянии уловить любой незначительный звук, спо-



собный помочь мне раскрыть тайну. Я повторяю, что, может быть, всё происходило не совсем так, как я описываю. Глядя на себя, сидящего тогда в том проклятом кресле и находясь теперь в относительной безопасности в моём кабинете, я представляю, как я выглядел: самоотрешённый, с обреченно опущенной головой, точно осуждённый, ожидающий на плахе, когда полетит его голова. Но, надо признаться, что он не коснулся меня даже мизинцем.

Краем глаза я пытался разглядеть его. Тщетно. Я собрал всю свою волю — если можно так вообще сказать, так как кровь моя похолодела, сомневаюсь, дышал ли я, — повернул слегка голову направо и с непередаваемым ужасом и негодованием одновременно увидел какую-то тень (как иначе назвать то, что я увидел?), убегающую, словно привидение, и спрятавшуюся на этот раз за ближайшим ко мне цветочным горшком. И вновь у меня создалось впечатление, что он был босой, был существом бестелесным. На нём не было даже одежды, хотя я мог её просто не разглядеть. Но теперь меня это не интересует. Дошло до того, что произошедшее вызывает во мне отвращение.

Лучше продолжу. Я не мог больше мучаться. То, что мною овладело и что я не могу к тому же описать (дьявольское любопытство, ужас, скорбь с каким-то болезненным оттенком), победило мой страх. Я ринулся произвольно к цветочному горшку с папоротником. Посмотрел направо, налево, оглядел балкон. Дошёл, спускаясь по покрытым мхом, скользким ступенькам, до цапель, которые забегали, глухо каркая. Я выглядел смешным. Да и кто бы не засмеялся, если бы я признался, что поднял какие-то небольшие камни на мелководье, уверенный в том, что он мог спрятаться под ними. Знаю, конечно, что такое было бы невозможно (под камнями я нашёл шевелящихся червяков), но это подтверждает, полагаю, мое состояние.

Я вернулся измотанным, в промокших позеленевших брюках, плюхнулся в своё соломенное кресло, ожидая, что, может быть, он снова случайно появится. Вот тогда бы я преподал ему хороший урок! Ох, что бы я с ним сделал, если бы мне удалось схватить его за руки! Даже сейчас, когда я всё это описываю, по прошествии времени я испытываю ту же ярость. Мог бы сказать

ещё большую, так как бывают минуты, когда он меня занимает как никогда. Где бы я ни находился, думаю о случившемся... В голове моей проносятся самые жестокие мысли относительно тех, кто хочет растревожить мой уединённый покой. Но о каком покое я говорю? Хотя бы этот, незначительный, что у меня остался. Почему мне не позволено наслаждаться тем утренним пейзажем? Сцена с цаплями и пирогой в тумане, облагораживающая всё вокруг, меня буквально притягивает, не знаю почему. Однако, когда я спустился по ступенькам, всё мне показалось враждебным. Всё вокруг, особенно побережье реки, казалось какой-то равниной смерти. Белые птицы своим отчаянным глухим карканьем словно прогоняли меня. Хотя сейчас я понимаю, что прогонял-то их я, своими движениями, похожими на движения сумасшедшего. И хотя их карканье мне казалось тогда страшно зловещим, теперь я понимаю, что эти птицы, именно эти, были ни в чём не повинны. Хорошо, что я сравнил их с лилиями. В последующие дни, думая об этом, я чувствовал себя виноватым в том, что потревожил их покой.

Упустил сказать, что, когда я допивал остаток кофе, мне пришла идея подключить к поискам официантов (исчезнувших из поля моего зрения), подкупить их, допросить, потребовать от хозяина гостиницы, которого я разбудил бы сам, чтобы он отдал распоряжение для всеобщих поисков повсюду. Я подумал, что попрошу вмешательства самого полковника, взывая к его дружеским чувствам, связывающим нас столько лет. В случае необходимости я дошёл бы даже до заискивания. Но обдумывал я всё это зря. Что-то в глубине души моей мне говорило, что никто не может мне помочь. К слову, официанты: они посочувствовали бы мне и только. По тому, как они пристально меня разглядывают, я чувствую, что уже на протяжении многих лет я являюсь для них посмешищем, что они принимают меня за полусумасшедшего. Что касается горничных, они таковы, каковы есть... Воспринимают меня со страхом, боясь, как бы я их не расцарапал ногтями. Держу пари, что они умирают со смеху, когда я оказываюсь вне поля их зрения. Ну а префект, что он может мне сделать? И кто я такой, чтобы иметь право осуждать, и кого? И на каком основании? А раз так, значит, мне было суждено

стать всеобщим посмешищем в салоне гостиницы... Осознание всего этого удерживает меня в таком тревожном состоянии уже давно. Я потерял сон, аппетит. Мне мерещатся призраки. О, если бы я был писателем! Я бы мог словами передать своё состояние... Если бы нашёлся хоть кто-нибудь, кому я мог бы доверить свою тайну...

— 4 —

Звуки металла, доносившиеся из салона, вывели меня из состояния полного оцепенения и безнадежности, в которые я был погружён. Это были музыканты оркестра — в полдень он должен был играть на балконе. Прежде чем я пришёл в себя, я увидел их всех, расставляющих вокруг меня свои железные пюпитры, передвигающих с омерзительным шумом мраморные столики в один угол. Но не только это. Они говорили друг другу пошлости, плевались. Даже если бы мне захотелось остаться ещё, я не мог бы это сделать. Меня задевало равнодушие, с каким эти дьяволы воспринимали моё присутствие. К тому же было уже более девяти часов утра, а моё свидание с Эвдорой было назначено на одиннадцать. Поэтому надо было спешить.

Всё складывалось против меня. Бессонница предыдущего дня, прохладные отношения с полковником подломили меня. И уж совсем охватила паника, когда я понял, как скверно выгляжу. Прежде всего это касалось брюк. Зелень на них при свете солнца была особенно видна. В целом туман рассеялся, и листва почти вся приняла желтоватый оттенок. Не знаю почему, меня раздражали такие краски дня. Мне казалось, что облачная погода импонировала мне больше. Яркий небесный свет делал все окружающее каким-то неестественным. Как бы это сказать — словно на меня был направлен прожектор и весь мир изучал меня очень внимательно и с подозрением. С другой стороны, должен признаться, мне не верилось, что я освободился от печального события, приведшего меня чуть раньше на грань помешательства. Музыканты, одетые как гусары в зелёные мундиры, но из дешёвой мятой ткани, на которой нелепо красовались погоны, деревья, официанты, лихорадочно подготавливающие мраморные столики, огни бара, потух-

шие в какой-то момент, — всё мне казалось ненастоящим. Создавалось впечатление, что я всё это выдумал.

Приступаю к подробному изложению событий, используя также мой дневник, который веду с молодости каждый вечер без исключения.

Рассеянный, со множеством мрачных мыслей в помутневшей голове, я поднялся в свой номер и нашёл его приведенным горничными в полный порядок, таким чистым, будто я и не ночевал там (было написано в одном месте, в отрывке, где упоминается тот день). Услышал свой внутренний голос, говорящий: «Что мне, идиоту, здесь надо?» Проклятье, если б я знал. Я сразу же спустился по лестнице, проклиная ту минуту, когда назначил на этот час свидание. Ведь я хорошо знаю, что по утрам я всегда бываю не в духе. Услышал хриплый гудок утреннего поезда. Я знал, конечно, что поезд шёл из глубины колонии, но мне показалось, словно он шёл с другого края Земли, а его гудок из глубин прошлого.

В этот момент я находился у лестницы гостиницы. Решив, что я бы нервничал в дороге, зная, что не располагаю временем, я передумал идти домой пешком, несмотря на обещания, постоянно даваемые самому себе. Не говоря уже о том, что мне трудно было бы бежать. К тому же я боялся встретить какого-нибудь знакомого, поэтому решил остаться в чём был, не меняя одежду: кверху от пояса она была почти не мятая. Но передо мной возник образ Эвдоры, красиво одетой, в шелках. Тогда я подумал, что всё то время, что я был бы с ней, я выглядел бы как карикатура. Могли ли мы при возвращении с прогулки пойти в таком виде на концерт? Меня бы тяготила каждая минута. Я горько усмехнулся, рассмеявшись в душе над тем, что воспринял с таким рвением эту встречу, будто был молод. Смутился. Я знаю, почему я это говорю. Есть на то причина. В дневнике моём во многих местах записаны мои мысли относительно Эвдоры. Они подтвердят, что я совершенно невинен.

Я нанял ландо\* из тех, что стоят перед гостиницей, и сидел всю дорогу не поднимая глаз, но не потому, что мне хотелось спать, а потому, что я

---

\* Четырехместная карета с открывающимся верхом.  
(Прим. переводчика)

старался не смотреть на дорогу. Мне не давало покоя утреннее происшествие. Несмотря на мое предупреждение, этот идиот кучер проехал перед префектурой, белые стены которой, как всегда, поразили меня. За тюлевой занавеской, чуть отодвинутой ветром, я различил Эвдору с венком на голове. Выйдя на немного залитый солнцем балкончик флигеля, используемого её семьёй в качестве жилища, она снова вошла в комнату. Меня охватил стыд при мысли, что она могла меня видеть, проезжающего мимо их дома в такой час. Но сейчас я сомневаюсь в этом. Ведь я сидел, свернувшись калачиком, в углу сиденья. К тому же она ничего мне не сказала об этом, когда мы встретились (мы назначили свидание возле церкви, там, где поворачивает дорога). Я поспешно задал кучеру встрёпку, думаю, оправданную, и мы смешались с другими каретами с пассажирами, ехавшими от станции.

Когда я приехал на свою виллу, то с облегчением вздохнул, так как времени оставалось ещё достаточно. Первое, что я сделал, — это сразу же пошёл в кабинет и проверил, не оставил ли я там по рассеянности открытыми окна. Эта мысль мучила меня прошлой ночью в постели гостиницы так же, как и все другие. Перед дверью меня догнал один из моих слуг и сказал, что чуть раньше он видел Питера, спящего в своей комнате, в той, где он спал всегда, когда приходил ко мне. Меня удивило, почему я придал этому большое значение, хотя такое случалось не в первый раз. Он часто появлялся подобным образом, как воришка. Я спросил слугу, не заметил ли он, когда тот пришёл? Но слуга, идиот, и сам не знал. Даже если я не узнаю этого никогда, вполне возможно, что он пришёл прошлой ночью, когда я ночевал в гостинице. Когда я вошёл, он сделал вид, будто давно спит и я разбудил его своим шумом. Но я убежден — и никто бы не смог меня в этом поколебать, — он только что лёг в кровать. Я больше чем уверен, что как только он услышал мои шаги в коридоре, тотчас же успел натянуть простыню и притвориться спящим. Я это понял по многим приметам: по его глазам, по его деланному разговору, по тому, как лежала одежда на стуле (вечное хаки), и, наконец, по ставням, настезь открытым, из-за чего солнечный свет, проникая в комнату, бил ему

прямо в глаза. А я знаю, что он не может спать при свете. Меня удивило: что его заставило вести себя так? Сейчас я знаю, каковы были его намерения. Да ладно уж. Даже другие мои слуги не видели, как он вошёл. Я остался снисходительным по отношению к нему, осознавая своё состояние. Я повторяю, что я не знал, что творилось со мной в то утро. Я всё воспринимал как во сне. Я считал, что всё, буквально всё имеет некую связь с тем, что произошло на балконе. Малейшее движение и даже находящиеся вокруг меня различные предметы — всё приобретало для меня особый смысл, словно существовало только для того, чтобы напоминать мне о случившемся. Несмотря на то что, когда я успокаивался, я признавал, что всё вокруг существует давно, да что я говорю, сотворения мира, и что я вкушал всё это и прикасался ко всему так много раз, не придавая никакого особого значения.

Я знаю, что тот, кто прочтёт эти строки, примет меня за сумасшедшего. Но какое имеет значение, что скажут люди, когда я превращусь в прах? Так как ничто меня более не сдерживает, признаюсь ещё кое в чём. Я понимаю, то, что я говорю сейчас, противоречит моим мыслям об ожидающей меня смерти. Очевидно, что я не спятил. Я это полностью осознаю. Я знаю это, я знаю... Но подчёркиваю: ничто более не имеет для меня значения.

\* \* \*

Тогда же подозрительность я заметил в себе, когда позднее оказался в ландо, в обществе Эвдоры. По мере того, как мы медленно продвигались по воскресным улицам, ещё пустынным в этот час, я поймал себя на мысли, что обращаю особое внимание на позу негра. Он сидел перед нами, точнее передо мной, точно изваяние. Неподвижный, со слегка склонённой в правую сторону голой спиной, держа уздечку. Мне казалось, что он нас подслушивает, что он ловит каждое наше слово. Я подозревал его до такой степени, что мой разговор с Эвдорой терял связность. Я пытался себя одернуть: ну и что из этого? Разве мне есть что скрывать (говорил я сам себе)? И всё же, и всё же он меня раздражал.

Он нарочно делает равнодушный вид, — говорил себе, — кто знает, что он замышляет. Всё, что я говорил Эвдоре из того немногого, что я хотел бы ей сказать, я специально сообщал ей неестественно громко, с притворством, как бы давая понять негру, что мне нечего скрывать. Иногда я понижал свой голос нарочно, чтобы посмотреть, что он будет делать, или просто чтобы его помучить, чтобы отомстить ему за то, что он имел дерзость за мной шпионить. Потому что его действия иначе не назовёшь. Помню, что покровительственная и пресыщенная манера моя отвечать на все её вопросы меня удовлетворяла как самая подходящая, доказывающая негру, что я не обращаю на него внимание. Сам же я себе говорил: «Интересно, он воспримет всё так, как я это изображаю, и передаст всё так, как есть, тем, кто заставил его за мной следить, или всё это дойдёт до них урезанным, прошедшим через его тупой мозг?»

Мы проехали через бесконечные аллеи финиковых пальм, деревьев дикого перца, олеандра, банановых деревьев. Выехали на мост Вури, от илистых вод которой исходил смрад, как ни странно, мне нравившийся. В этот момент, когда карета сделала небольшой поворот, я краем глаза увидел то проклятое место на балконе, где я сидел утром, покрытое зеленой прибрежье реки, принявшее теперь неопределённый бледный цвет, — весь пейзаж, промелькнувший в миниатюре с довольно большого расстояния. Я почувствовал облегчение, когда увидел музыкантов и людей под тентами на открытом воздухе.

Ещё немного, и мы очутились в глубине почти непроходимого леса из хлебных деревьев, от которых падала неземная тень, напомнившая мне, не знаю почему, утренний рождественский пейзаж на моей родине, однажды увиденный мной много, много лет тому назад.

Здесь, спрятанный среди деревьев, находился парфюмерный магазин госпожи Герэн, построенный в стиле пагоды со множеством павильонов, бойниц, боковых дверей. Видно было, что стены его всюду изъедены, безусловно, сыростью и загажены птичьим помётом. Колёса буквально стучали по сгнившим листьям, образующим целые пласты. Я оказался здесь впервые. Однажды кто-то мне рекомендовал этот магазин. Не помню ни то,

когда это было, ни того, кто это был. Признаюсь, с первого же мгновения меня опьянили мелодичное щебетание райских птиц с разноцветными перьями, некоторых из которых я видел на деревьях, и тяжелый запах кедра.

Эвдора находилась в эйфории уже с того момента, как мы отправились в путь, и сейчас её энтузиазм был безудержным. Речь не шла о парфюмерном магазине в узком смысле слова. Его хозяйка использовала его и в качестве дома, где кроватью служило каждое из канапе, на которых посетители могли отдохнуть после относительно утомительного путешествия.

Гостиная напоминала салон дорогого дома. Бархатные портьеры от потолка до пола, хрустальные люстры, редчайшие цветы, свисающие из красивых цветочных ваз, напоминающих амфоры\*, сразу же покоряли посетителя. Войдя внутрь, он непроизвольно поднимал глаза вверх, к потолку. По крайней мере, я это испытал на себе, несмотря на то, что жил такой жизнью в лучших салонах Европы. Да и сама госпожа Герэн, давно привыкшая видеть своих посетителей изумлёнными, даже и она с её декольтированными туалетом создавала впечатление, будто ты видел её в каком-то салоне Европы, в одном из тех, что имеют тенденцию к исчезновению. Мы увидели её, как только вошли; она появилась из-за бархатной портьеры, готовая нас принять, с фамильярной улыбкой.

После заданных мною вопросов я понял, что раньше в этом доме ночами постоянно играли в карты, развлекались и проводили разные другие мероприятия, которые я избегаю упоминать. Она сама приехала сюда задолго до войны. Ей щедро заплатили, чтобы она спасла какого-то министра от ужасного скандала, разразившегося в ту пору вокруг него по её вине. Ей здесь понравилось, и она осталась навсегда. Каждое её движение напоминало её прошлое, которым она, по-видимому, гордилась, сохраняя в своих манерах какую-то своеобразную ностальгию, не имеющую ничего общего с меланхолией.

Среди её посетителей имелось немало докучливых (я хорошо знаю таких и по своей работе),

---

\* Большой, суживающийся книзу узкогорлый сосуд с двумя ручками, распространённый в античном мире. (Прим. переводчика)



приезжающих сюда без малейшего желания что-то приобрести. Но этот факт говорит о хорошей рекламе. Вот и сейчас, когда мы приехали, нашёлся здесь некто, одетый, как и я, в белое, сосредоточивший своё внимание на одном красочном хрустальном флаконе, не проявляющий никакого интереса ни к нашему присутствию, ни к присутствию госпожи Герэн. Он продолжал его долго и внимательно разглядывать. Мне было странно, что присутствие его не вызвало во мне никаких подозрений. Сделав мысленно быстрые сопоставления, я выкинул их из головы.

Я сказал госпоже Герэн, что мы хотели бы вначале присмотреться. Тогда она оставила нас одних, обратив своё внимание на какие-то гипертрофированные цветы, похожие на магнолии. Их, только что срезанных, принёс ей снаружи один негр. Она начала приводить их в порядок, с огромной фантазией и грацией, помещая их в какой-то стеклянный сосуд с широким отверстием и поглаживая с осторожностью своими тонкими пальцами так, чтобы не повредить лепестки. Находясь в хорошем расположении духа, она тихо напевала, импровизируя какую-то мелодию из известной оперетты.

Разноцветные, красивой формы флаконы, не только маленькие, но и большие, из стекла и хрусталя, гранённого с непревзойденным искусством, заявляли о своём присутствии во всём: начиная от вымытого только для видимости пола, отражавшего и наши силуэты, и заканчивая верхним ярусом. Я видел также хрустальные бутылки на полках и на сделанных со вкусом из черного дерева или слоновой кости столиках, расположенных хаотично на всём пространстве.

Я видел, что Эвдора внимательно рассматривает, иногда касаясь пальцами, многоцветные зонтичные, известные своим ароматом, флаконы, похожие на лилии, и вообще флаконы разного вида, которые только можно себе представить. Неожиданностью для нас оказались крупные бутылки в форме куба, короткие горлышки которых образовывали траурно-лиловый бант. Они назывались «самоотрешение». Были и другие, с названиями: безмятежность, ночное путешествие, присутствие того мгновения, барышня-туман и всё в таком духе.

Госпожа Герэн переносила своё прекрасно сложенное, подобное статуе тело, но в тот мо-

мент, когда наблюдатель начинал восхищаться им (я заметил это и по взгляду другого посетителя), разочаровывала его, потому что постоянно двигалась, всегда готовая ответить на любой возможный и невозможный вопрос Эвдоры или удовлетворить любое её желание. Было видно, что держится она так, скорее всего чрезмерно ей симпатизируя, а не из-за коммерческого интереса. Когда Эвдоре захотелось понюхать какой-то одеколон, достать который госпожа Герэн могла, поднявшись на маленькую лесенку, она поднялась на неё безропотно, как всегда. Но Эвдора сразу же его оставила с каким-то разочарованием ради другой шестиугольной бутылочки, находящейся перед ней на чёрном столике. Она удивлялась, журча коротким смехом и подпрыгивая. Но восторг её был таким до тех пор, пока бутылочка находилась в поле её зрения. Содержимое бутылочки было густым, темно-зелёного цвета, как оливковое масло, и имело запах горького перца. Я тоже нагнулся и понюхал, касаясь лицом её волос. Видно было, что это был чистый продукт перегонки.

Далее Эвдора хотела узнать название духов, для приобретения которых мы совершили целое путешествие, и гармонировало ли оно с их концентрацией и запахом. Или вдруг совершенно неожиданно она спрашивала: «На бутылочке написано «присутствие того мгновения». Означает ли это, что, если через много лет я снова их открою, они мне напомнят значительный эпизод из моей жизни?» — вопросы, выдававшие её наивность. Эвдора говорила многое такое. И в какой-то момент я совершенно забыл о своём состоянии. Она задавала также вопросы госпоже Герэн, касающиеся её личной жизни, ставившие ту в трудное положение в моём присутствии. Но хозяйка магазина находила всегда подходящий ответ, в то время как ласкала белокурые волосы Эвдоры с материнской любовью, выдававшей не возраст (она не была пожилой), а имеющийся у неё жизненный опыт.

Было уже около часа дня. Уставшая от всех этих красок, форм, запахов (потому что участвовали все органы чувств), Эвдора выбилась из сил, как это бывает в таких случаях, но не решалась что-то выбрать. То брала одно, то оставляла другое, постоянно, с отчаянием, не в состоянии что-то решить. Я с нетерпением ожидал,

когда же она что-то выберет, чтобы мы могли уехать, потому что я был сильно взволнован. Несмотря на всю нежность, которую вызывала во мне её растерянность, мне пришлось попросить извинения у госпожи Герэн, напрасно старавшейся ей помочь. После чего я прочитал Эвдоре целую лекцию, о которой пожалел позднее в ландо, потому что она показалась мне смешной. В конце концов я купил Эвдоре пять или шесть флаконов духов на свой вкус, из тех, что мне нравилось вдыхать, когда душились дамы моего времени. Она их приняла с детской удовлетворённостью и облегчением.

Я поблагодарил госпожу Герэн, и мы ей пообещали заезжать к ней регулярно, так как теперь мы были с ней знакомы. Несмотря на то что первоначальное моё намерение было пойти вместе с Эвдорой на концерт, доехав до гостиницы, я нашёл какое-то оправдание, и мы разошлись. Я приказал негру довести её до дома. Что касается меня, то я перекусил что-то на ходу, в одном уголке ресторана, пустовавшего в тот момент, так как все посетители находились вне салона, и сразу же поднялся в свой номер, так что никто меня не видел. Все ставни были закрыты, и я, уставший, забылся сном. Меня убаюкали отрывки из серенады Тозели и Дунайских волн... Я говорю это с такой иронией, так как это были минуты, когда даже музыка могла причинить мне беспокойство. В тот полдень особенно, в ушах моих звучала скорбная, неземная музыка, и я недоумевал, пока не одолел меня сон, неужели возможно, чтобы все эти люди мирились с такой музыкой? Какое-то странное ощущение вины охватило меня, словно я был виноват во всём. Когда я вошёл в номер, я бросил украдкой взгляд из-за ставень. Всюду простирался неопределённый бледный цвет. Тот же самый цвет волновал меня и по дороге к госпоже Герэн. Только сейчас он ложился под другим углом.

— 5 —

Где-то в шесть часов вечера того же дня, когда здесь всюду царит полный покой, очнувшись от какого-то кошмарного сна и весь залитый потом, я различил из-за вуали полога еле заметный солнечный лучик, проникавший из-за закрытых

ставень. Несмотря на всю роскошь, в которой утопает (точнее, в которой утопал, потому что с тех пор я покинул номер навсегда; больше я никогда не увижу его стен, я удалился на свою виллу в ожидании того, чем всё закончится) — несмотря, повторяю, на всю роскошь, в которой утопал этот номер, он был погружён в какой-то меланхолический цвет. Такое часто случается в этот час с номерами, выходящими на юг. От лёгкого дуновения, только от одного, должно быть с океана, чуть колыхнулись занавески. В коридорах и залах гостиницы было очень тихо.

Неосознанно отметив всё это, я полностью проснулся. В голове моей снова начали ворошиться происшествия, так сильно занимавшие меня утром. Начнём, говорил я сам себе, с того: кто был этот Прокравшийся? (Так я его представлял: прокравшимся.) Голос его, если это вообще можно назвать голосом, мне кого-то напоминал, я это понял сейчас. Я мог бы даже ощутить его дыхание на затылке, дыхание тёплое, в какой-то момент приписанное мною одному из чёрных официантов. Но, к сожалению, или из страха встретиться с действительностью лицом к лицу (я всегда был нерешителен; все мои коммерческие удачи объясняются везением), или из страха вдруг увидеть чьё-то знакомое лицо (я отказывался подумать, чьё именно), я не решался обернуться. Но если это было именно так, тогда почему он (или оно?) не удосуживался подойти ко мне таким образом, чтобы я мог его видеть? Почему он прятался за моей спиной? Чего он хотел и зачем издавал такие угрожающие звуки? Его голос был подобен хрипу, будто я засунул своё ухо в лёгкие какого-то астматика. Может быть, он был сумасшедшим? В какой-то момент меня охватил невыносимый ужас. Помню, что я похолодел. Я боялся, что ещё немного и он задушит меня своими руками. Мне казалось, что он продлевает моё мучение специально, чтобы заставить меня ещё больше страдать до тех пор, пока хорошенько со мной не расправится в подходящий момент. Что до меня, я применяю эту фразу, потому что и он, Прокравшийся, тоже использовал такой неестественный и напыщенный архаический язык, словно взятый из какого-то ветхого армейского пособия по осаде, язык, приводящий меня в ужас, если сло-

вом ужас кто-либо когда-либо может описать такое состояние.

Однако, мысленно возвращаясь к нему, я говорил: «Может быть, и он испытывал то же самое? Ведь он тоже казался робким, нерешительным. По-видимому, меня напугало его глубокое дыхание. Если бы не это, то, надо признать, что он был безопасен». Я говорю это сейчас, находясь в полной безопасности в своём кабинете. С тех пор я сделал в доме существенные перестановки, приказал, чтобы мои слуги поставили мой стол в угол. Спина моя упирается теперь в две стены, так что страх преодолён.

И действительно, в то утро, но и после полудня тоже, то есть в то время, которое я сейчас упоминаю, я витал между мирами грёз и действительности. Нечто подобное случается со мной часто, вот уже много лет, после того проклятого дня, когда, стоя перед зеркалом в номере гостиницы, я увидел, как я постарел. Такова реальность. Но моя симпатия к дочери префекта, симпатия, которую кто-то другой счёл бы смешной (сам я тоже это признаю), не была случайной. Представляю, что сказала про себя госпожа Герэн, узнав в последний момент, когда мы уезжали, что я не был её отцом. Поспешность, с которой я купил ей шесть или пусть пять флаконов духов, там, где я мог бы прекрасно обойтись покупкой одного или самого большого двух, произвела и на меня самого впечатление, только несколько позднее, когда мы мчались в ландо по тенистым дорогам и я смотрел на неё, держащую бутылочки крепко в своих объятиях, словно это были младенцы или куклы. Нелепо выглядело также то, что я вышел у гостиницы, оставив её одну продолжить путь. Музыка, доносившаяся издали, сводила меня с ума, особенно потому, что рядом со мной была она.

К тому же её присутствие и, как ни парадоксально, присутствие самого полковника я воспринимал теперь как нечто, имеющее связь с моим прошлым, нечто неопределённое, конечно, наполненное неясными воспоминаниями о событиях и состояниях давно прошедших, но смутно продолжающих упорно существовать в моей памяти без изменения. Воспоминания эти пугали меня, как поблекшие фотографии, снятые преднамеренно в

разное время после многих попыток и усилий как со стороны фотографа, так и со стороны фотографируемого...

В тот момент, когда я думал об этом, погружённый в какое-то сонное состояние, со взглядом, устремлённым к вершине полога, будто молился, моё внимание привлёк знакомый мне звук. Это был звук, исходящий из-за той бархатной портьеры, что скрывала мою ванную комнату, звук от падающей капли воды, иной раз способный довести меня до умопомешательства. Водопроводный кран, водопроводный кран, подумал я (устаревшая и неоднократно отремонтированная деталь из меди), снова начал течь. Насколько же они отвратительны. Даже не заботятся его исправить, а я плачу им кучу денег. За этот проклятый номер... Я пожалуюсь на них... Больше не останусь здесь...

Но с чего же мне начать, чтобы рассказать всё по порядку? Я расскажу, я всё расскажу. К тому же мне нечего скрывать. Что я выигрываю утаиванием? Даже и это, последнее, что я сказал, не имеет для меня никакого значения. Ничто теперь не имеет значения. И если я пишу обо всём этом, то только для того, чтобы покончить с моим безвыходным положением. Меня не беспокоит, выиграю я или проиграю что-то. Всё закончилось. Всем этим интересуется тот, кто ещё имеет какие-то старые счёты с жизнью. В моём же случае я не вижу, чтобы что-либо меня связывало с ней.

Я проклял этот кран, используя самые крепкие выражения. И тут же подумал, что эти чёртовы капли раздражают тех, кто вынужден их терпеть. В данном случае это, конечно, касается меня, ведь нервы мои натянуты как струна, которая в любой момент может лопнуть. Не считая этого, то, что в течение многих недель понапрасну расходует столько воды, выглядит как насмешка, потому что бывают обстоятельства, при которых целые города страдают от нехватки воды и случаются смертельные исходы. И это не преувеличение. Со мной лично такое случилось при осаде нашего города. И только я могу знать, какую катастрофу вызвали бесчеловечные действия врага, уничтожившего наш водовод. Именно тогда произошёл инцидент с моим другом, который в одно облачное послеполуденное время про-

ходил вблизи моего сада, куда я вышел прогуляться. Он просил меня, точнее, умолял со слезами на глазах и высохшей, как у бешеной собаки, пеной у рта, чтобы я дал ему немного воды, держа в дрожащей, как у нищего, руке цинковую консервную банку. Стоит ли говорить об этом сейчас. «Тот, кто может спасти себя сам, пусть спасётся», — подумал я, прогнав его, я бы сказал, очень резко и надменно. О, какие проклятия он послал в мой адрес уходя, когда понял, что нет никакой надежды. Помню, к моему большому стыду, заставляющему меня сейчас, когда я это пишу, стонать от непередаваемого отчаяния, с каким удовлетворением я, бесчувственный, прогулялся немного по прелым листьям, сохранявшим ещё цвет ржавчины, и только потом с уверенностью в своей правоте ушёл в свою библиотеку. Стоя перед окошком, глядя на оголённые деревья, я подумал: «Почему именно я предпринял меры? Надо было бы и другим позаботиться. Ведь идёт война». Я не имел в виду, конечно, конкретно этого моего друга. До такой степени я проявил бездушие, что из-за этого страдаю и сейчас, и буду страдать до тех пор, пока не заплачу сполна...

Однако, что это были за угрызения совести (я говорю всё это не для того, чтобы искупить вину; было так, как я это описываю), какие муки я пережил, когда в тот момент, когда наши войска входили в город, ровно два дня спустя после случившегося, я узнал, что он был убит по ошибке от нашей пули. Как же я мог это забыть? Тем не менее хотел и забыл. Те дни были днями скорби, траура. Вместо того чтобы праздновать, что могло бы показаться логичным, мы начали залечивать наши раны. Война ещё не окончилась, а мы уже начали ремонтировать наши дома, подготавливать их к зиме (хотя мой собственный дом был цел и невредим), очищать дороги от земляных насыпей, разыскивать мёртвых среди развалин: среди досок, камней, развалившейся мебели, от которых исходил отвратительный запах затхлости из-за того, что лил дождь.

Под развалинами, без всякого сомнения, была погребена и она; я нанял людей для повсеместных, но в конечном счёте безрезультатных поисков. Она, конечно, не стояла, облокотившись на

изгородь моего сада, там, в аллее, ожидая, чтобы я появился в окне; это я сам с тех пор так себе её представляю, предаваясь мечтам, безумец. Кто знает, быть может, её нашли и не сказали мне ничего, чтобы я не носил траур...

\* \* \*

Внезапно я, разлегшийся в постели, вскакиваю как ужаленный с мыслью, что Прокравшийся с Чёрного Хода, вызвавший во мне такое отвращение, был не кто иной, как томимый жаждой и несправедливо убитый мой друг. Вот почему он вёл себя так, словно задыхался. Что же касается дочери полковника, она была никем иным (я в этом сейчас уверен!), как умершей девочкой, которую я так безжалостно прогнал из своего дома, потакавая своему дурацкому капризу. Меня не интересовало, что ей некуда было идти, хотя война находилась на переломе к худшему... Я её привел к себе в дом сам. Познакомился я с ней, когда она была цветочницей, на переднем дворе железнодорожного вокзала города N... накануне войны, куда я прибыл на местном транспорте однажды в полдень в связи с работой антикварного магазина. Проводился аукцион. Она была бедно одета. Сейчас я не могу вспомнить, но и ещё раньше, рассказывая об этом своим друзьям, я совершенно не помнил, как случилось, что я разглядел её среди стольких лиц. Со временем я даже забыл, как она выглядела. Одну фотографию, красивую, сделанную мной в художественном фотосалоне, я потерял при переезде. Помню, однако, из того, что я рассказывал своим близким друзьям, что на меня произвели глубокое впечатление её грустные глаза, как будто только они и были на ее лице, и тоненькие, словно восковые, пальчики. Я её потерял... Я её потерял... Единственное, что у меня осталось, — букет, который она протянула мне, умоляя меня его купить. Я до сих пор храню его в засушенном виде в одном из правых ящичков, там, где погребены все мои памятные подарки. Боже, до чего я докатился? Нет мочи открыть его и взглянуть на них. Меня бы это испугало, словно я увидел бы лицо умершей. Я знаю, что тем, что строю иллюзии относительно-



но первого и позволяю ему мучить меня, насмехаться надо мной, и тем, что я боготворю вторую в лице дочери префекта, я пытаюсь найти возможность искупить свою вину. Я забываю, по-видимому, другие гнусные проступки, совершённые мною во время войны (те, о которых я рассказывал до сих пор, — это цветочки), подвластный алчности и будучи мерзким эгоистом, каким я был и остаюсь всегда, я вынужден подходить ко всему расчётливо.

Но я здорово заплатил за всё. Я наказан так сурово, что ищу теперь сочувствия от кого бы то ни было. Я достаточно страдал до сих пор. Это говорю я, рассказавший искренне обо всём. То, что я испытал, хуже тюрьмы, хуже пожизненного заключения и даже смерти.

К примеру, то, что произошло со мной в последние дни войны. Когда я понял, что мне грозит опасность, что меня могут осудить, прежде чем успели конфисковать моё имущество, я нашёл способ перевести формально все мои права на третьи лица и, спрятавшись в безопасности и роскоши одной гостиницы, регулярно получал от них провизию. Но из-за политических брожений 19... года и последовавшего экономического кризиса, сотрясшего до основания всю нашу национальную структуру, я рисковал погибнуть в буквальном смысле слова, так как люди, которым я доверил своё состояние, были не только неопытны, но и лживы. Невозможно описать словами, чего мне стоило в моём возрасте это испытание. Чудо, как это оно не нанесло мне последний удар или, наоборот, нанесло, — говорю я теперь. Цены на бирже, превратившейся в мусорную свалку, о чём я читал в газетах, падали непрерывно. Из окна гостиницы я видел панику на улицах.

Здесь необходимо одно маленькое дополнение: всё это продолжалось не более чем несколько дней. Наконец, чуть раньше, чем утихла буря, я уступил заманчивым предложениям одного подлого нувориша. Однажды вечером он пришёл в мои апартаменты в гостинице, одетый во фрак, но с грязными ногтями, сопровождаемый похожим на палача молчаливым человеком с лихорадочно бегающими глазами. Я распродал с терзаниями в душе не только антикварный магазин, но и мой дом, находящийся повыше от него, мой прекрасный

сад, две гостиницы и разные другие мои предприятия, разбросанные по всему городу.

Но то, что я больше всего оплакивал, был не мой дом (мебель и реликвии которого я храню до сих пор), даже не атмосферу моего кабинета в тильной стороне дома, выходящей в сад, где прошли все мои годы, а одну из моих гостиниц, в стиле Возрождения, знававшую прежнюю славу. Все дипломаты останавливались там. Она ещё существует, находится на центральной площади, в аристократическом квартале, не очень далеко от моего антикварного магазина. Во время войны её превратили в больницу. Мне не заплатили даже декару\* за аренду, несмотря на все усилия, которые я предпринял. А потом еще говорят, что я не принёс никакой пользы нашим.

Я сказал, что я продал всё с сожалением. Вель иначе и быть не могло. Если бы я не уехал в Африку вовремя, могло бы случиться так, что сейчас я находился бы в тюрьме, а быть может, даже и в могиле. Бывшие мои служащие, неблагодарные, как всегда, начали мне угрожать, возбуждать притязания на нелепые прибавки, осуществляя которые, я разорился бы на час раньше... Но если мне и удалось спастись, скрываясь в моих апартаментах в гостинице (в течение восьми месяцев я выехал всего-навсего два раза ночью, в закрытом автомобиле), — кто бы мне дал гарантии, как долго я продержусь? Мог ли я находиться до бесконечности в заключении, к которому приговорил себя сам? Между тем, совершая эту сделку с новоявленным богачом, я получил в руки наличные деньги тогда, когда было опасение умереть в нищете, и обеспечил с помощью третьих лиц, найденных им же, все условия для спокойного бегства, взяв с собой всё, что мне хотелось, из моего прошлого.

Как видно из написанного, я относительно легко отделался, в то время как я изображаю жертву, когда говорю, что много страдал. Вот почему судьба так жестоко наказывает меня сейчас. По-видимому, я не заплатил сколько требуется. Я это признаю. Я признаю, что я ещё могу сказать? Я благодарен вам, я благодарен вам, обстоятельства, за то, что вы предоставляете мне удобный случай заплатить

---

\* Декара — греческая монета (10 лепта) (сравни 10 коп.).  
(Прим. переводчика)

сполна. Быть может, поэтому теперь я всё время откладываю принятие окончательного решения. Я сделаю всё возможное, чтобы нанести последний удар. Тогда, что бы я ни совершал в прошлом, всё покажется мне ничтожным по сравнению с тем, что я выстрадал.

— 6 —

Помню, я говорил когда-то одному моему другу, что бывают минуты, когда я всё принимаю за нереальное, за плод моей фантазии. Это было накануне войны, намного раньше, чем я привел Z... в свой дом. Было после полудня. Я оставил своих служащих в антикварном магазине одних, с небольшим числом покупателей, не вселяющих надежду на то, что они что-то купят. Мы сидели вдвоём у меня в кабинете, предаваясь мечтам. Я смотрел через окна в сад, где лёгкий ветерок колыхал пожелтевшие листья. Я мог бы описать эту сцену со всеми подробностями, с ещё большей ностальгией, какая только может быть. Я ему объяснял, что ощущаю, словно из того, что я вижу, ничего не существует, словно я сам создаю всё вокруг до мелочей: атмосферу моего кабинета, его самого, листья, пыль на листьях, ветер, который дует, прохладный шелест листьев, глухо доносящийся иногда до моих ушей. Помню ещё то, что я его спросил, видел ли он то же самое вокруг, что видел я. Смех, которым мы закатывались, невозможно описать.

Излишне говорить, что то же самое я испытываю и сейчас. Словно всё происходящее в последнее время придумал я сам, своей фантазией, желая поверить в то, что я достаточно наказан. Если это так, тогда мне предстоит ещё многое испытать, так как, должно быть, я отнёсся с терпимостью к самому себе. Только в случае, если бы я непрерывно подвергал себя телесным пыткам, ощущая и видя их в случае необходимости перед зеркалом, я убедил бы себя в том, что заплатил за свои поступки.

Но что же это я говорю? Всё происходит наяву, всё, что произошло со мной теперь, в последнее время, к счастью или к несчастью? Не знаю даже, что выбрать. Всем этим я не собираюсь утешить себя или, наоборот, подвергнуть себя новым пыткам. Просто так и есть. Разве возможно бы-

ло, чтобы я создал все эти подробности? Тогда я должен был быть сумасшедшим. То, что я перепису сейчас из моего дневника о моей последней стычке с полковником, покажет, что я имею право так говорить. Я приведу все подробности, не преследуя никакой другой цели, кроме как убедить себя в том, что я только что написал. К тому же мне нечего больше скрывать. Ах, если бы я мог говорить ещё более открыто! Тот, кто когда-либо найдет эти записи, пусть судит...

\* \* \*

Поздно вечером (писал я в своём дневнике о том проклятом дне) меня ожидал неприятный сюрприз. Знать бы об этом — не покинул бы постель. Но не знал... Меня всё раздражало. Невозможно было более терпеть угнетающий мрак в номере. Он походил на мысли, меня мучившие. Если сказать правду, это время дня всегда меня тревожит, с самого детства.

Я поднялся, подошёл к окну. Бросил затравленный взгляд за стекло. Но не увидел ничего, что доставило бы мне удовольствие. Вдалеке на горизонте, ещё полуосвещённом, собрались чёрные тучи. Они усугубляли моё душевное состояние. С другой стороны, со стороны Вури, выплывала бледная луна, общающаяся только со мной, так мне пришло в голову. Голоса двух негров в прибрежье, покрытом зеленью, словно доносились из какого-то другого мира. Я уверен, что тот, кто увидел бы меня в тот момент, принял бы меня за сумасшедшего. В зеркале, словно в отражении грязных вод какого-то озера, я видел свое печальное и одновременно раздражённое лицо, издерганное и измученное. Я не мог глядеть на себя — в майке, промокшей от пота, и в перчатках, натянутых на руки. Что касается беспорядка в номере, который я успел устроить в течение нескольких часов, об этом лучше не говорить. От меня исходил отвратительный запах сигарет.

Я спустился в бар гостиницы, чтобы отвлечься от всего этого (насколько я наивен!), и — на тебе! — полковник! Самое худшее, что могло бы случиться! Он сидел в том же углу, где мы сидели всегда. Вначале я хотел его обойти, но всё же подошел. Какого чёрта?! Я понимал, что в состоянии, в котором я находился, мне никто не был

нужен. Словно мне было недостаточно того, что я не мог видеть никого, я нашёл, к тому же, в его поведении относительно меня перемену. Что-то с ним произошло, что имело отношение непосредственно ко мне. С первой минуты я понял, что сцена предыдущего вечера была ничем иным, как прелюдией, а не продолжением нашей беседы, как он пытался это представить вначале. Это подтверждалось также его сегодняшним поведением. Он устроил эту сцену с расчётом, найдя какой-то нелепый повод. Он не мог меня обмануть. Все мои чувства были обострены. Всё, что происходило со мной, я видел отчётливее, чем когда-либо в моей жизни.

С самого начала он не говорил со мной об Эвдоре и даже о том, произвели ли духи на него впечатление. Но я уверен, что она их показала ему сразу же, как только поднялась. Я же старался не намекать ему. С едким сарказмом, разозлившим меня, он высказал мне, что, когда я вошёл, будто бы хотел от него улизнуть. Я превратил это в шутку. Но не это было причиной его поведения. Существовало что-то более глубокое. Я это ясно понимал. Да, забыл сказать, он был выпивши. До конца этой роковой нашей встречи он выпил, я мог бы сказать, где-то ещё полторы бутылки виски, а может, и больше. Он пил непрерывно. Я же выпил очень мало. Меня в нём раздражало ещё и то, что он говорил со мной, не интересуясь, слушаю ли я его, есть ли у меня желание его слушать или отвечал ли я ему или нет. На всё, о чём бы я ни говорил, он реагировал механически и продолжал говорить своё.

Внезапно и совершенно неосмотрительно он предложил выйти нам на балкон — на балкон! — чтобы насладиться луной. Я ответил не оборачиваясь, что у меня нет ни малейшего желания двигаться. Стараясь прервать последовавшую раздражающую меня тишину, я предложил ему насколько мог более уступчивым тоном выйти прогуляться до моста, а затем направиться к моему дому. На это он не ответил, притворившись, будто всецело поглощён молодой дамой, сидящей чуть поодаль от нас.

Здесь я прекращаю переписывать, чтобы сделать небольшую вставку: можно было бы сказать, что я всё это придумал или что я, не желая того, спровоцировал всё это своим поведением.

Но как же тогда можно объяснить всё то, что последовало? Я должен быть, я это повторяю, сумасшедшим, чтобы всё это придумать. Я не могу предположить что-то другое. Ну, да ладно. Продолжу переписывать из дневника...

Я хотел найти повод, чтобы уйти, — писал я. Я хотел провести ночь у себя дома и решил поторопиться, чтобы застать Питера, прежде чем он уснёт. Вдруг в какой-то момент, не знаю, что на него нашло, я услышал, как он говорит:

«Так или иначе, друг мой, если однажды я решусь написать мои воспоминания, то удивлю многих. Я умею делать, как говорят, сенсации. Моими армейскими докладами в прежние годы я наделал много шума. Между нами говоря, я был силён в орфографии. Я должен был стать писателем. Но вернусь к тому, что я говорил. Ты знаешь дорогу, ту, что ведёт к Гуане...»

«Конечно, знаю. Как не знать? — сказал я, не зная, что надо сделать в первую очередь: восхититься его одарённостью или подумать, к чему он ведёт. «К чему это ты? — спросил я. — Когда я приехал, меня провёл по ней один молодой англичанин. Много раз я и сам ходил по ней, чтобы размяться. Конечно, я не углублялся далеко. Этот район виден из моей библиотеки, но неясно. Поднимается много пыли. Не имеешь ли ты в виду дорожку, поворачивающую направо, когда продвигаешься вперёд в том месте, где находится одно старое здание, вроде какой-то европейский завод, с какими-то древними чёрными заглавными буквами снаружи?»

«Молодец. Великие умы всё-таки встречаются, — сказал он. — Именно эта дорога. Англичанина, о котором ты говоришь, я знаю. Он каждый день ездит в джунгли и возвращается. Да что же это сегодня случилось со мной? Я его не знаю. Нет. Я его не знаю. Ты мне это говорил или мои люди, что когда он приходит к тебе, то остаётся ночевать у тебя в доме? Видишь, друг мой, мы всё узнаём рано или поздно. То здание — на самом деле завод. Парфюмерный магазин госпожи Герэн находится по другую сторону. Там делают мыло из фиников. Много лет уже я там не был, с тех пор, как со мной приключилась история, которую я тебе расскажу. Сейчас товары их стали худшего качества. В то время Африка была девственной. Сейчас же сюда понаехали всякие отщепенцы (извините, забыл, за исключением

присутствующих). Вначале он принадлежал одному греку, ты его не застал, бывшему переселенцу, некоему Франгопападимитракополису, Димитракофармакополосу. Я его помню, я его ясно вижу. Он изменил его — я имею в виду изменил свое имя. Когда он умер (он похоронен здесь, рядом с могилой того молодого, что утонул в реке), его сын, тип ипохондрика, продал завод братьям С..., владеющим им и сейчас, а сам уехал жить к матери в Париж...»

Он говорил ещё много такое, несвязное. Я всё это опускаю, так как это не заслуживает внимания. Мне не давала покоя навязчивая мысль, что он преследовал какую-то цель, пока всё это говорил. Он смотрел на меня как-то странно, будто хотел сказать: ты знаешь, о чём я думаю, не притворяйся дураком.

Затем он продолжил:

«Но давай вернёмся к теме, к данному вопросу, я хотел сказать. Эта дорога, до последнего времени, немного раньше, чем прибыло ваше благородие, была ничем иным, как тропинкой».

«Что ты хочешь этим сказать, в конце концов?» — спросил я.

«Не беспокойся и увидишь, к чему я всё это, — сказал он раздражённо. — Эта дорожка ведёт в очень густые джунгли. Так она выглядит и сейчас. Внимательно следи за тем, что я буду говорить. Не перебивай меня. Много лет назад, ещё когда ты был франтом (ты мне это рассказывал) на бульваре своего северного города, ехали мы однажды утром в один гарнизон района, чтобы выплатить жалованья, с неким младшим лейтенантом, как и я, не будем уточнять с кем. Ехали мы на автомобиле того времени. Безусловно, это был первый автомобиль на африканской земле, чтобы не сказать — во всём мире. Мы неслись по кустам и деревьям, не обращая внимания ни на что. Некоторые из них нанесли нам большой ущерб. Вёл машину я. Я был асом в этом деле. Не хочу хвастаться, но я был — сплошные подвиги. Приключения были и есть — какое имеет значение то, что я сегодня полковник — были, говорю, в моей крови. Ну ладно об этом, а то ты подумаешь, что я собираюсь хвалиться».

В какой-то момент, когда мы дошли в лесу до одного очень тёмного места и нам казалось, что был вечер, в то время как было утро, настолько густой была листва, я подумал: надо спуститься

немного к дороге, чтобы отдохнуть от тряски. Излишне говорить, что мой уважаемый сопровождающий, боявшийся даже своей тени, создавал тысячу трудностей, утверждая, что якобы мы должны прежде довести до конца наше задание, и всякое такое. Но в конце концов он согласился. Немного отдохнув на траве и неся вечный вздор, присущий молодым, я, отличавшийся беспокойным умом, предложил, очарованный всем тем, что было вокруг, пройти немного в глубь джунглей. Венсан (ну вот, тебе стало известно его имя, так его звали, я хотел это скрыть от тебя, ну да ладно, сорвалось с языка) всё же согласился. Однако оцепенел и был прав.

Мы достаточно проникли вглубь. Промокли до костей из-за дождя. Наши белые мундиры стали совершенно зелёными. Пока мы продвигались, он мне говорил: «Странно, чем глубже мы продвигаемся, тем меньше я боюсь. Только одно меня беспокоит, не потерять бы нам дорогу и суметь вернуться к машине». «Чего ты боишься? Зверей нет. Мы их прогнали рёвом машины», — говорил я ему, чтобы привести его в чувство, так как видел, что он всё посматривает на ветки.

Мы дошли до края одной опушки, покрытой зелёной травой, под которой ощущаешь, даже не ступая по ней, вязкую почву. Если попадёшь в такое место, пропал, тебя проглотит. И на самом деле мы избегали наступать. В одном месте земля была так заболочена, что на поверхности воды плавали водяные лилии и сгнившая зелень. Вокруг этого открытого места были — что ещё, как не вековые деревья, скрывавшие солнце настолько, что мы дрожали от холода. С другой стороны, мы вспотели от ходьбы. Сам понимаешь, ёрш окуно не пара.

Мой сопровождающий, изнеженный тип (удивляюсь, как его сделали офицером), начал проклинать тот час и минуту, что связался со мной. Он сбросил свою маску храбреца, удававшуюся ему сохранять её до того момента. Чтобы отвлечь его внимание, я говорил с чрезмерной простотой на темы о здешней жизни, о любовных историях и о всякой всячине. Но я заметил, что в подобной ситуации всё это бывает бесполезно. Что я сижу и говорю тебе это. Ведь ты хорошо знаешь джунгли... Я видел краем глаза, как он бросает обезумевшие от страха взгляды на вершины деревьев, с кото-



рых свисали какие-то громадные вьюны, словно змеи. Кто знает, я не уверен, может, были и змеи. Мы слушали также пение тысяч, помноженных на тысячи, райских птиц. Некоторые из них порхали с ветки на ветку. Другие, с огленными в верхней части черепами, приткнувшись как раз над нашими головами, опускали всё время клювы с печальным и одновременно дьявольским видом, будто не могли решиться, стоило ли начинать нас клевать или нет.

Теперь обрати внимание, как человек может стать предателем, если у него не хватает мужества и думает он только о своей шкуре. Ты-то, конечно, этого не знаешь. Ты невинная голубка в таких делах. Мы узнали о тебе всё. В конце концов, помучив его, не знаю, в течение скольких часов (признаюсь, что мне нравится подогреть другого), я предложил ему отправиться в обратный путь. Как случилось, что он не расцеловал мне ноги, когда это услышал? На радостях он начал снова чваниться и воспрял духом.

Мы отделились от этой опушки. Он, умник, шёл как раз за мной, чтобы использовать проторенную дорогу. Я же убирал с пути чёртовы ветки. К тому же я показывал своим решительным и бесстрашным видом, отличающим меня, что я одолею любую опасность, как это и случилось. Здесь подходит то, что говорят в таких случаях: он посадил меня, чтобы я вытащил из щели змею\*. В самом деле, так и случилось. Только вместо змеи появился лев. К чему это я? А? Мне напомнил это происшествие тот дылда своей позой, вон тот, что сидит один. Не оборачивайся сейчас, чтобы его увидеть. Но какое отношение имеет его поза к тому, что я говорю? Поди найди. Нет, нет. Если быть искренним, ты напомнил мне его гнусный поступок, я имею в виду поступок Венсана. Ну, да ладно.

Войди теперь в моё положение. Представь льва, идущего прямо на тебя, да ещё в таком месте. И главное, ты без помощи. Что бы ты сделал? Один только вид льва, суровый, мог бы привести тебя к разрыву сердца. Я не имею в виду, конечно, только тебя (в последнее время тебя можно оправдать из-за положения, в котором ты находишься), но и любого другого...»

В этот момент я прервал его: «Что ты имеешь в виду, говоря о «положении, в котором я нахожусь?». И он мне ответил равнодушно: «Что

я имею в виду? Просто я имею в виду, что ты висишь на волоске. Между нами говоря, это так. Так зачем же скрывать то, что шито белыми нитками? Не надоело тебе прятаться столько лет? Кстати, почему ты не осмелился меня прервать на чём-то другом? Я тебе скажу, почему. Потому что ты склонен к подозрениям, вот почему. Ну ладно. Я же сказал тебе, чтобы ты не перебивал меня».

И, поменяв тон, он продолжил:

«Необходимо, значит, иметь стальные нервы, богатырскую силу, глаз орла. Иначе тебе конец, ты погиб — он тебя разорвёт. Если бы я не обладал всеми этими качествами, сейчас я бы удобрял, находясь в львиных отбросах, какой-нибудь уголок джунглей. Если же меня нашли бы полусъеденного, сейчас на мраморной плите моей могилы или моего памятника буквы моего имени и вечных пошlostей, написанных снизу, стёрлись бы давным-давно от дождей. Вечерами моя душа выходила бы с возмущением, чтобы прогнать ящериц на траве... Ты когда-нибудь ходил на кладбище, чтобы увидеть, как оно отвратительно? Но что же я говорю? Ты был один из первых, искренне скорбящий, на похоронах К... Ха, ха, ха... В таком деле ты ас. И только одна эта сцена способна заставить меня собраться и уехать с женой и дочерью к туманам нашей родины. Ты когда-нибудь думал об этом? Наверно, нет — чтобы ты думал об этом! Это, конечно, не связано с тем, хватает ли у тебя смелости показать свой нос в тех краях... Давай, не притворяйся, как будто не понимаешь... Да, кстати, полагаю, что ты осыпешь проклятиями всех богов и чертей, думая о том, почему он меня не разорвал. Представь себе, если бы меня не было, ты мог бы спастись. Подумай об этом. Говоря по правде, если бы я был на твоём месте, я бы лопнул от злости. Ха, ха, ха... И, однако, он не только не разорвал меня, к великому твоему огорчению, но и жил я после этого ещё лучше: получил награды, ты их видел на приемах, совершил поездку в Европу, где не пропустил ни одной юбки, женился и до меня добрались, как говорят, клещи\*\*. Только до тебя не добрались (но они, по-видимому,

\* То же: взвалил на меня самую опасную часть дела или моими руками жар зажёб. (Прим. переводчика)

\*\* Клещи — полиция (сленг). (Прим. переводчика)

займутся тобой здорово в этот раз). У меня очаровательная дочь. Или, может, ты возражаешь относительно последнего? Значит, тебе пришлось в голову, что ты дошёл до смешного?

Но оставим всё это на потом. С первым шумом в листве сообразительный Венсан, удирая без оглядки, исчез, несмотря на то, что видел, что ему не грозит опасность. Этот пропащий человек, мой слуга Вонго, забыл тебе сказать, меня сопровождавший, вместо того, чтобы остаться, чтобы защитить меня, последовал, к тому же, за ним, крича ему: «Опирайся, опирайся, здесь, здесь... Не ходи туда, увязнешь в трясине...», словно его хозяином был тот, словно я не существовал. (Он умер теперь, недавно, после того, как я его прогнал.) Надо отметить, что я отчаянно звал обоих, особенно Венсана. Но разве он пожертвовал бы хоть кусочком своей шкуры? Я слышал его, кричащего издали что-то, вроде он говорил: «сверни себе шею, был бы я здоров». Тебе знакомо разное такое. Не будем заходить далеко.

Послушай теперь, как я спасаю. Признаюсь, что, если бы я увидел, как два горящих глаза смотрят на меня из зарослей, я бы растерялся. О чём я должен подумать в первую очередь: о моём спасении от верной смерти или о спасении вещевого мешка с деньгами. Но одно я хочу сказать. Не знаю, сколько досталось мне, однако и я ему вцепился, и он понял, — я имею в виду льва. Речь идёт о настоящей битве. Я не знаю, сколько раз он меня бросил наземь. Столько же раз и я бросил его. Я всё время старался, чтобы мне не досталось по лицу от его когтей, иначе бы я пропал. И доказательством тому: у меня на лице нет ни одной царапинки, только на теле.

Не подумай, что это был какой-то царь зверей. Наоборот, это был какой-то заморыш. И было тем хуже. Его шерсть не имела ничего общего с той, что мы видим на львах в зоопарке. Местами её не было вовсе. А та, что еще оставалась, даже не блестела и ничего не стоила. Не говоря о том, что, по сути, он играл со мной. И это приводило меня в бешенство ещё больше. Он катал меня по траве, которую мы с ним затоптали в радиусе не знаю скольких метров (чуть было не сказал километров), словно я был какой-то мяч. Разумеется, что он мне давал отпор всё время с рёвом, показывая

мне свои зубы, похожие на огромные колы, в промежутках между которыми находились приставшие к ним куски мяса неизвестно какой падали. Несколько раз он притаивался. Казалось, будто он ушёл. Тогда я пытался убежать ползком, на четвереньках. Но с излишней наивностью он бил меня лапой и вытаскивал меня из зарослей.

Между тем, забыл тебе сказать, что, глядя сквозь ветви деревьев на небо, показавшееся мне с овчинку, я различил, как свертывается кольцом и уравнивает в воздухе своё скользкое тело огромная змея, питон. Какие-то обезьянки из тех, что с маленькими тельцами, собрались на близлежащих ветках и наблюдали за этим зрелищем со страхом. Ни одна не шевелилась. Хотел бы я вас видеть на моём месте, подлецы, говорил я себе. Что до лысых птиц, то они были таковы, каковы они были. Я знал, что они ждали, когда же лев съест меня, чтобы подчистить кости... Да ладно об этом...

Сейчас, когда я тебе это рассказываю, всё выглядит смешно. Представь меня, новоявленного Геракла, и то, как позванивает, в то время как я борюсь, различное богатое приданое, подвешанное на мне: фляжки, компасы, цепочки, вещмешок с деньгами, бусы и зеркальца для негритянок, с которыми я совершал в то время достаточно много торговых сделок. Не помню, что я ещё тащил. Ты удивишься сейчас, как же я спасаю, потому что любой бы удивился. Очень просто: я взял одну палку, которую на моё счастье нашел в траве, и засунул её ему... Нет, так мы делаем с крокодилами. Я другое хотел сказать. Вспомнил, идиот. (Очевидно, так ты должен характеризовать меня.) Вспомнил, что у меня с собой был карманный нож, из тех больших, что имеют изыскатели. Ну и ну, что со мной, идиот, — сказал я себе, — как же мне не пришла в голову эта мысль раньше? Если бы я вспомнил о нём, не мучился бы столько. И с этими словами мне удаётся сунуть руку в карман, ту, что была свободна, и мгновенно, прежде чем лев успел сообразить, я наношу ему две ножевые раны в область сердца. Прямо в сердце, будто вычислил. С двумя этими ранами он отошёл немного в сторону, бросив на меня печальный взгляд, и упал в зарослях, недалеко, рядом, по-

мыв их основательно. Я видел, что он издох, но на всякий случай нанёс ему ещё два-три удара, прикончив его.

Когда обезьянки увидели это, они обрадовались, начали вызывающе смеяться, звать других, бросать мне орехи\*. Не будем об этом. Как они меня не убили. Я послал к дьяволу и их тоже, потому что они оглушили меня. Но разве их остановишь? А лысые птицы увидели, что напрасно ждали, бросив на меня какой-то раздраженный взгляд, договорились между собой, коварно каркая, и улетели в другое место, в поисках другой жертвы, оставляя падающие на меня перья.

И всё это благодаря бесчувственному Венсану. Но за этой следует другая драма: как мне избежать этот ад Данте в том состоянии, в котором я находился? Что ты будешь делать с крепким здоровьем, когда из твоих ран кровь течёт рекой и ты не имеешь возможности пошевелиться? Когда я рассказал эту историю одной медсестре однажды вечером при свете луны на палубе корабля, на котором я уехал в Европу для поправки здоровья, она залилась слезами. Не понимая этого, я упал на льва, продолжающего отдавать богу душу, и сказал: с этого момента что будет, то будет, раз на этом свете не существует совесть. Я имел в виду Венсана. Я, во всяком случае, свой долг выполнил. Достаточно того, что своим героическим поступком я спас не только одного бойца, в котором нуждается родина, как это подтвердится, но кто знает и скольких ещё негров.

В таком состоянии я заснул, так как был словно утёнок в поту и крови. Постелью мне стала влажная трава, а подушкой нижняя часть брюха льва, нежного и усохшего от голода.

Проснулся я через несколько часов от кошмара, увиденного во сне. Мне снилось, что я увязал в одном мерзком болоте, намного хуже того, о котором я тебе рассказывал раньше. Проснулся и вижу, к огромному моему несчастью, сквозь пелену тяжелого сна, покрывшую мои глаза, что кровь льва, смешанная с моею, чуть было не потопила меня. Вокруг меня образовалось настоящее море. Травы больше не было видно. Но где найти силы подняться? Между тем раны, полу-

ченные от когтей, причиняли жгучую боль, словно их посыпали солью. Смотрю, чуть подальше, на холмике-насыпи, что-то шевелится, что-то дьявольское, что меня напугало. Это был безобидный термит, кативший своими клещами ком, в три раза, если не сказать в шесть раз, больший по объему, чем его тело».

Здесь я его прервал, потому что больше не выдержал, и сказал ему: «И на тебя это произвело впечатление? Я читал в одной книге, что существуют термиты, волокущие груз, намного больший, чем тот, который ты видел. Зайди сегодня вечером ко мне домой, если хочешь, я тебе её покажу. Она лежит у меня на столе. Будет и тот англичанин, о котором я тебе говорил».

«Ладно уж, может быть, был и больше. Я не пробовал его измерить. Откуда я могу помнить после стольких лет», — сказал он язвительным тоном, будто не ставил ни в грош моё мнение, и продолжил: «Посмотри, говорю сам себе, один муравей поднимает такой груз, а ты не можешь поднять даже своё тело. От такой мысли я чуть было не заплакал. Но сдержался. Я начал стонать, но не столько от боли, сколько от отчаяния.

Чтобы не быть многословным, скажу: в конце концов пришли и спасли меня, и это благодаря моему несчастному Вонго. Что значит спасли меня? Помощь я чуть было не нашёл оттуда, откуда и не ожидал. Если бы не те орехи, которые мне бросали обезьянки, я был бы сейчас в мире ином. Я испытывал ни с чем не сравнимый голод, не говоря уже о мучительной жажде. Только один Бог знает, как мне пришлось в голову их разламывать. Ты должен был видеть, как я с жадностью ковырял ножом в них дырочки. Кровь на нём я почистил какими-то листьями. Я весь дрожал. Что за жажда это была... Выпив сок, я их открывал, сильно мучаясь, так как у меня не было камня, и ел их съедобную мякоть. Съел где-то пять, один за другим. С тех пор я такие орехи не ел. Когда меня нашли, был поздний час. Они пробирались, освещая дорогу фонарями. Голова моя, безжизненная, лежала на трупе льва. Меня приняли за мёртвого, хотя глаза мои были полуоткрыты и я их видел. Откуда им было знать, что если бы я даже умер, то воскрес бы. Ни к чему говорить о том, что Венсан, увидев, что меня тащат в гарнизон, имел ещё и дерзость мне корчить грима-

\* Имеется в виду индийский орех. (Прим. переводчика)

сы. Такое отношение ко мне он сохранял, пока его не перевели в другую колонию. Что с ним стало потом, даже не знаю. Кто знает, какой крокодил съел его на закуску, такого, каким он был... Потому что подобных типов наказывает божья кара: им невозможно её избежать. Если они избегут её сегодня, она настигнет их завтра. Собственно говоря, справедливость беспристрастна, поведение Венсана было в буквальном смысле ничто перед подвигами некоторых других... Я не привожу имена, чтобы не затрагивать семьи...»

– 7 –

«А сейчас ты ужаснёшься, — вдруг сказал он, и лицо его внезапно изменилось. — Что ты сделаешь, если я тебе открою, что большая часть из сказанного мною сегодня вечером — ложь. Удивляюсь, как это ты не понял в течение стольких часов. Ну что за чёрт! Ты, корчащийся из себя эрудита, неужели ты не понял, что всё это скверно пахнет романом ужасов, кошмаров и приключений? Ну что ты смотришь на меня так, словно я с луны свалился?»

Я не поверил своим ушам. Замер на мгновение, стараясь понять состояние его психики, но мой мозг одеревенел.

«Тогда зачем же ты мне всё это рассказывал?» — спросил я.

«Было бы неплохо, если бы я сам это знал, — ответил он и разразился притворным смехом, сильно меня раздражающим. — Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха... Я всё это сказал, чтобы тебя запутать. Ха, ха, ха, ха... И это хорошо... Ха, ха, ха, ха... Давай не прикидывайся, что не понимаешь... Ха, ха, ха, ха...» Смеялся он долго и брызгал слюнями мне в лицо, из-за чего мне приходилось постоянно вытираться платком. Присутствующие в зале запоздалые завсегдатаи смотрели на нас как на что-то из ряда вон выходящее. С тем же недоумением смотрели на нас и официанты.

«Если то, что ты говоришь, — сказал я вне себя от возмущения, — содержит хоть грамм истины, тогда ты просто отвратителен. — Слово «отвратителен» я подчеркнул. — Вообще, я не хочу тебя даже видеть. Постеснялся бы. Это доходит до омерзения». Я поднялся, чтобы уйти.

Но что-то заставило меня отложить мой уход на некоторое время.

«Так, значит, ты хочешь сыграть перед нами роль, этого ты хочешь? — продолжил он, оправившись от смеха и принимая серьёзное выражение лица. — Хочешь перед нами изобразить, что ты не понимаешь, что прячется за этой историей? Только этого не хватало нам сейчас...»

«Нет. Нет, я ничего не понимаю», — сказал я, паникуя из-за того, что выражение моего лица выдавало мрачные подозрения, начавшие ворошиться в моём мозгу.

«Значит, хочешь, чтобы тебе сказали прямо? Может, сделаем сообща так называемые откровенные признания? С удовольствием. — Он готов был начать. — Только, может, ты хочешь сделать сам какое-нибудь признание?» — добавил он, пользуясь моей паникой.

«Нет, нет, я ничего не хочу, — успел сказать я. — Окажи мне любезность, оставь меня в покое. К тому же, я не собираюсь ни в чём признаваться. Какого рода признание я могу сделать!»

«Раз ты ничего не хочешь, тогда оставь меня в покое. Ты меня оставь в покое, но не я, и не порть мне вечер. И ты ещё имеешь дерзость предъявлять мне наглое требование, скотина!»

Я сделал вид, что не услышал последнего его слова. Я не мог найти, что сказать, и, находясь в замешательстве, ухитрился ему ответить:

«Я был прав, когда думал, слушая тебя, что ты столько часов бредишь. Я слушал тебя внимательно, хотя не верил ни одному твоему слову. Но разве ты можешь понять такое? Вместо того чтобы быть признательным, насмеяешься надо мной...» При этих последних словах меня охватила такая досада, так как я понимал, в какое положение он меня поставил, и совсем не потому, что меня беспокоила его насмешка.

«Подожди, подожди. Мне кажется, что сейчас я разозлюсь по-настоящему, — сказал он. — Это доказывает, что ты лицемер. (А когда ты им не был!?) К тому же, чему из двух мы должны поверить: тому, что ты не поверил ничему из того, что я говорил, или тому, что ты во всё это поверил, и даже больше, и до такой степени, что разозлился и удивился, как будто падал спящим с какого-то балкона, когда понял, что всё это было неправдой? Или думаешь, что всё это время я не наблюдал за тобой?» Эти



последние слова он мне сказал так, будто имел в виду, что он следил за мной много лет. Он догадался, что я это понял. И он продолжил: «Я виноват в том, что сижу и пускаюсь с тобой в объяснения. Не говоря уже о том, что моя терпимость, проявляемая по отношению к тебе столько лет, довела меня до скандала. И, кроме того, мы ни состояние Ваше не украли, ни безупречное Ваше прошлое не обесчестили, господин ...» (Здесь он произнёс моё настоящее имя.)

«В таком случае, — сказал я с беспокойством, так, чтобы он поверил, что я не услышал имени, им произнесённого, или что я подумал, будто он просто оговорился, так как был выпивши, — в таком случае, раз тебя до такой степени удивляет моё поведение, почему ты ожидаешь, что я обезумею, если ты сделаешь такие откровения? Прекрати, прекрати. Не старайся продолжать, — добавил я, разгневанный, — а то я даже не знаю, что сделаю. Я клянусь тебе, что завтра утром я войду в бар и высмею тебя перед самым последним мужиком, спустившимся с плантации».

«Я это знаю. В состоянии, в котором ты находишься, тебе может взбрести в голову поставить на карту всё. Но одно я тебе скажу: смотри, ни в коем случае не сделай какую-нибудь глупость, потому что вместе с тобой будут смеяться и деревья. Не говоря уже, что ты будешь иметь дело в первую очередь со мной. Ты знаешь, что я имею в виду...» Он это сказал равнодушно. «Но, поверь, — продолжил он с тем же сарказмом, — как я смеялся в душе, видя твои гримасы, когда ты наблюдал за моей историей... Буквально неистовствовал. Ха, ха, ха... Пойдем спать, друг мой. Отложим до завтра...»

«Ты хочешь сказать, что будет продолжение? Ты в своём уме? Что с тобой сегодня, в конце концов? Забудь всё. То же самое постараюсь сделать и я. С этой минуты наша дружба остаётся в прошлом...» — сказал я, уязвлённый. Моё воображение возвращалось в прошлое в поисках утешения в старых дружеских связях, угасших уже давным-давно.

«Какое продолжение? Наверняка ты бредишь, — сказал он. — Думаете, господин ... (здесь он снова произнёс моё настоящее имя), что у нас есть время заниматься Вашими пороками? Достаточно Вас терпели столько лет. Если даже ты

упадёшь целовать мне ноги, в эту минуту, когда они, вспотевшие, беспокоят меня, всё равно этот твой шаг не смоет твой позор».

«Я потерял рассудок, я клянусь тебе, — сказал я, следя за тем, чтобы голос мой имел примирительный тон. — Ты должен уважить хотя бы те вечера, что мы провели вместе, в моём доме, да и в твоём, конечно, в первую очередь на радушных приёмах в префектуре, за которые я тебе, конечно же, признателен, даже после сегодняшнего твоего поведения. Надо отдать тебе должное. Там, где ты прав, там прав. Если бы не ты, я был бы в колонии одинок. Я это признаю».

«Оставь эти свои софизмы. Всё это было и есть для видимости, с твоей стороны, я имею в виду, чтобы пускать мне пыль в глаза. Может, настало время, и ты нам теперь скажешь, что мы должны упасть и целовать тебе ещё и ноги, шут гороховый. Говорят, что человек начинает бредить после полуночи, ну и, конечно, в этой мерзкой атмосфере, в которой ты нас всё время обвиняешь. Значит, так. Прекрасно: раз тебе она не нравится и ты постоянно ноешь, что однажды испустишь дух, возьми и уезжай. Но ты не можешь это сделать. Куда ты уедешь? Думаешь, мы это не понимаем?»

Он сделал небольшую паузу и продолжил: «Но чтобы ты понял, что ты часто давал маху при всём своём коварстве, от которого многие пришли в ужас (это теперь, в последнее время ты стал ягненком), я сообщаю тебе в эту минуту, что я говорил тебе ложь тогда, когда сказал, что я говорил тебе ложь. Я даю тебе слово офицера, что говорю серьёзно. Ты ещё и вынуждаешь меня клясться ради тебя, скотина. Если хочешь, если у тебя есть мужество, спроси первого встречного и увидишь. Все это знают. Но какой тебе смысл спрашивать? Да и к тому же у кого ты спросишь, ведь от тебя отвернулись все, таков уж ты есть. Пожалуйста, если хочешь, я уйду, чтобы ты не подумал, что моё присутствие повлияет на чей-то ответ, и спроси любого наугад. Вон. Спроси того официанта. Войди внутрь и спроси самого хозяина гостиницы. Если найдётся хоть кто-нибудь, кто скажет тебе, что история, рассказанная мною во всех её подробностях, была неправдой, я проигрываю тебе одну поездку в Европу, извини, я хотел сказать в Азию, потому что знаю, как ты боишься Европы, или в Америку, или на Север-

ный полюс с первым проходящим судном. У меня с собой авторучка. Я тебе подписываю сразу же чек. Если только ты мне не доверяешь, тогда другое дело. Я подписываю тебе сразу же документ в присутствии свидетелей, если хочешь. И всё это для того, чтобы ты увидел, к какому хаотичному состоянию приговорило тебя твоё жалкое прошлое и одиночество, которому ты себя подверг по очевидным причинам».

«Тогда, тогда всё то, что ты мне сказал раньше?..» — спросил я с идиотским видом.

«Всё то? Что это ещё за «всё то»? Ты сегодня вечером своим притворством завёл меня в тупик. Тебя интересует, зачем я сказал, что всё рассказанное мною было ложью. Проще простого: я это сказал, чтобы тебя испытать. Извини, я хотел сказать: ради шутки. Ты сам виноват, что так выходишь из себя. Во что я впутался...»

«Тебя надо избить, да так, чтобы это не поддавалось описанию, — сказал я, обезумевший от ярости. — Что это за лабиринт? Зачем ты сбиваешь меня с толку столько времени? Нашёл к тому же подходящий день, сегодня, когда я так отвратительно себя чувствую. Что я тебе сделал, в конце концов? Мерзавец». Я уже не считался ни с чем. Из последних его слов я понял, что он всё знает. Я не мог более сдерживаться. Хотя я понимаю сейчас, когда пишу, что я должен был вести себя совершенно по-другому. Я продолжил: «Я ничему не верю, ничему из того, что ты мне сказал сегодня вечером. Совершенно ничему. Я начинаю не верить и всему остальному, что ты мне рассказывал, а я сидел как идиот и слушал тебя. Убирайся сейчас же, убирайся, я тебе говорю. Я хотел уйти, но теперь считаю это для меня оскорбительным. Я требую, чтобы ты освободил угол. Убирайся, убирайся, я не верю ничему. Взялся меня терзать среди ночи. Но что я говорю. Я должен сказать, рано утром. Убирайся, потому что я не знаю, что я сделаю».

«Не веришь нам? Ты никогда нам не верил. Большое несчастье. Гарсон, принеси нам два мятных напитка, чтобы прошли наши огорчения. Извини, одно из них пусть будет молочко для господина. Скажи мне, если мне позволено спросить: может, мне убраться? Когда-нибудь тебе в башку приходила мысль — или, если хочешь, мы тебе предоставим что-либо из письменных доказательств — что в положе-

нии, в котором ты находишься, знаешь, что я имею в виду, только одним движением мизинца я могу, если захочу, выдворить тебя в наручниках в течение 24 часов, и даже меньше, из колонии? А потом можешь портить себе зрение в поисках какого-нибудь уголка на Земле, чтобы спрятаться там!»

Здесь он сделал небольшую паузу и продолжил:

«И зачем я, идиот, сижу и расстраиваюсь, вместо того, чтобы смеяться над твоим моральным падением, порчу себе кровь... Насколько я помню, я так прекрасно провёл время, пока выздоравливал... Я говорю тебе об этом искренне, в конце концов, независимо от того, что я испытываю к тебе сейчас, и не для того, чтобы тебя мучить. Как было бы хорошо, если бы ты предоставил мне возможность вести себя по отношению к тебе лучше. В чём я виноват, если ты по сути скотина. Но давай не будем братья за старое...»

Представь! Меня поместили в самую лучшую комнату, я имею в виду в гостинице, меня одного, с окном, выходящим к реке. Вообрази, не полковника, которого ты знаешь сегодня, а неприметного тогда младшего лейтенанта. Каждый день цветы, анонимные письма и всякое такое. Не говоря уже о романах с медсестрами. Все без существенного содержания. Одна молодая вдова, как она сама призналась, писала мне, что ждала с нетерпением моего выздоровления, чтобы я смог приехать на её плантации. Представь, что было бы! Она мне описывала местность, где жила. Был у неё дом и на родине. Но какая была мне необходимость совершать чуть ли не кругосветное путешествие ради того, что я имел и имел, когда только хотел? И, кроме того, я был настроен на Европу. К тому же я прекрасно проводил время с медсестрами.

На корабле, на котором меня отправили в Париж по совету одного чересчур благодетельного врача, я прекрасно провёл время. Он настоял на том, чтобы я поехал на осмотр к известному врачу Сарко, иначе бы я мог заболеть какой-то странной болезнью. Насколько этот врач, которому, клянусь тебе, я не сделал ни малейшего намёка, насколько этот врач выражал со скорбным видом своё беспокойство относительно меня,

настолько я смеялся про себя, потому что чувствовал себя прекрасно.

Мы останавливались во многих портах, удивленных мною и при возвращении в Африку. Большинство из того, что я видел, я тебе не рассказываю, потому что ты тоже совершил это путешествие. Пока мы плыли, находясь в тропическом поясе, любой мог видеть под расстёгнутым воинским кителем (всё было запланировано) моё местами обнажённое тело, забинтованное сверкающими чистотой бинтами, белыми как молоко. Мне их меняли каждое утро медсестры корабля с такой заботой, которую невозможно даже представить. Ты не испытывал ничего подобного никогда, даю голову на отсечение. Меня нежили, словно я был младенцем. Такое их отношение ко мне я поддерживал, естественно, как можно больше. Я то жаловался в своей княжеской кровати в каюте первого класса на жгучую боль здесь, несмотря на то, что я её не испытывал, то вздыхал — ох, не тяните там и всё в таком духе. Левая моя рука, тоже забинтованная, висела неподвижно, словно культия, ещё на одном бинте, спускавшемся от шеи. Всякое такое мне нравилось всегда, когда я слушал, как чешут языками о войне. Вечером в кровати, если я был один, я высвобождал руку и давал ей отдохнуть.

Я дрожал при мысли, что врач корабля, напугавший меня с первой же минуты своим взглядом, брошенным в мою сторону, мог приказать снять с меня повязки. Очарование тогда наполовину бы пропало. Между тем я сохранял усталую походку, так же, как и усталый взгляд. Они мне очень подходили. Я это видел не только перед зеркалами коридоров, в которые я смотрелся, когда никого не было поблизости, но и во взглядах некоторых пассажиров, смотрящих на меня. Как говорится, позволю только, и жертвы попадают штабелями...

Ну, да ладно, к чему болтать. Я думаю, ты понял, что уже с первого дня в салоне корабля после обеда — был ещё закат солнца, я это помню как сейчас — я произвёл сильное впечатление своим появлением. Всюду разнеслось, что на корабле тот офицер, что боролся со львом. Чем больше я это ощущал, тем больше делал вид, что стараюсь спрятать из скромности следы борьбы. В общем, вёл себя так, как будто ничего не знаю, хотя делал всё возможное, чтобы не остался ник-

то, кто бы меня не увидел... К чему скрывать... Я говорил тебе и повторяю: пришло время заплачивать за всё. Я пил свой кофе, всегда в одиночестве до тех пор, пока, наконец, перестал изображать из себя недоступного. Я делал это какое-то время специально, внимательно следя за тем, чтобы смотрелся погруженным в раздумье и в воспоминание о приключении. Но о чём это я? Ах, да. После кофе я поднимался с трудом с бархатного кресла (чудовищная мебель той эпохи), выходил на палубу и смотрел на бегущие волны... Конечно, я это делал, потому что знал, что не только те, кто находился на палубе в тот момент, но ещё и те, что в салоне, наблюдали за мной из-за стёкол.

Вот это и есть подвиги, а не твои мерзости. Я знаю твою жизнь вдоль и поперёк. Ты сам мне открыл её секреты, не считая тех сведений о тебе, что мною были получены. Ты оказался разоблачителем моих недостатков, совершенно безобидных. Я же знаю твоё прошлое вдоль и поперёк. Ну, да ладно, остановлюсь, а то ещё чуть-чуть и ты свалишься от злости. Что это за гримасы? Если у тебя поехала крыша, скажи нам. Мы тебя отправим в психушку за счёт государства, освоишься. Негры заплатят. Здесь есть одна за городом, на одном острове, несколько часов кораблём...»

«Я знаю, не нужно мне это говорить», — услышал я вдруг свой голос.

«Тогда умри, потому что ты докатился до омерзения. Я прикажу сегодня же вечером сенегальским часовым, которые не шутят в таких случаях, чтобы они в дальнейшем не разрешали тебе входить ни в одно государственное учреждение, не говоря уже о префектуре. Скажу, чтобы они повесили твою физиономию на всех заставах. Но что это я говорю. Такого — до чего ты докатился! — тебя знают даже камни, ведь ты бродишь как неприкаянный. Я не подвергну тебя никакому наказанию, хотя знаю все твои бесчестные проступки наперечёт, только и только для того, чтобы оставить тебя со своими терзаниями. И сделай мне одно одолжение, не смей никогда прикасаться к Эвдоре своими предательскими руками. Иначе я их тебе отрублю, Великий патриот!»

В эту минуту я вспомнил случившееся утром на балконе и отважился спросить:

«Извини меня... Ты мне позволишь, по край-

ней мере, задать тебе один вопрос? Только один. И я становлюсь. Спасибо... Спасибо... Не мучай меня больше. Скажи мне: значит, это ты был на балконе... на балконе гостиницы? Поэтому я и не согласился, чтобы мы вышли сегодня вечером на балкон, когда ты мне предложил. Это ты был на балконе утром?.. Я не имею в виду тебя самого... Я не обижу на тебя нисколько. Я тебе обещаю. Только бы узнать правду. Извини меня за слова «я не обижу на тебя». Только этого не хватало, чтобы я на тебя обижался. Это предположение сведет меня в могилу, поэтому я был в таком состоянии сегодня вечером. Это ты приказал, чтобы они меня так мучили утром?»

«Какой балкон? Скажи мне: какой балкон? Каким утром? У тебя, на самом деле, поехала крыша? Какое отношение к этому имеет балкон? В тебе проснулось твое прошлое, и ты видишь, по-видимому, привидения, тебя преследующие. Скажи мне, какой балкон? Скажи мне сейчас же».

«Ничего, ничего... Оставь меня, я прошу тебя. Я прошу у тебя прощения за то, что я тебе сказал. Это были глупости, глупости...»

«То, что меня приводит в ярость и когда-нибудь заставит меня дойти до предела, — сказал он, — это то, что недостаточно того, что мы тебя терпим столько лет, лицемера из всех лицемеров, но ты ещё имеешь гнусную дерзость изображать перед нами невинную голубку...»

«Значит, ты знаешь? Понимаешь, что я хочу сказать? Ты это знаешь ещё с тех пор, бедняга, и сидел и любовался мною?»

«Заткнись и не перебивай меня. Конечно, я знал ещё с тех пор. Или, точнее, узнал теперь; недавно мои агенты мне сообщили, приводя конкретные факты, что мои подозрения были обоснованны. Если бы я узнал об этом ещё раньше, я бы давно тебе свернул шею. Не думаю, что тебе пришла в голову мысль, будто я тебя отвергаю, потому что обиделся на пошлости, сказанные тобой вчера вечером. Я всегда подозревал, что с тобой что-то происходит. Но, конечно, не настолько. Хорошо мне сказал один, приехавший сюда лет пять тому назад из Европы... Но что это я сижу и обсуждаю... Лучше пойду и поболтаю с твоими друзьями, с крокодилами».

С этими словами он быстро вышел, оставив меня в замешательстве. Из того угла, где я сидел,

хорошо было видно, как он, охваченный гневом, перешагивает подножку автомобиля и садится в него. Я слышал, как он что-то резко выкрикнул своему водителю. И они тронулись. Я выпил менту залпом, словно это был яд, и вышел на улицу, на дорогу, освещённую луной.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

— 1 —

Прошло много времени с тех пор, как я об этом писал, и ещё больше с тех пор, как всё это произошло. Всё это время меня гложет постоянно только одна мысль: что со мной будет? Она беспокоит меня, где бы я ни находился. Даже во время сна мой мозг буравит эта мысль.

За это время не произошло ничего такого, что могло бы приглушить моё отчаяние, кроме одной поездки, быть может, несколько благотворной, на поезде в глубь колонии и в какой-то степени монотонного, утомительного и наполненного беспокойства путешествия на речном судне. Во всём моём облике видны были тщетные старания скрыть отчаяние. Моё настроение было бы лучше, если бы меня вели на казнь через повешение. Я проклял ту минуту, когда принял это решение. Возможно ли, чтобы такое рыдание души считалось развлечением?! Прежде всего, я не знал, что я искал и даже куда я ехал и зачем. Я говорил себе постоянно, что надо сесть в поезд и вернуться назад. Но что-то меня удерживало в нерешительности. Я жил в вакууме. К тому же я забыл о своём положении. Однако что-то неопределённое меня мучило. Словно меня вынуждали бесцельно скитаться с места на место, лишённого права вернуться назад, независимо от того, хотел я этого или нет. Кроме того, я совершил одну непростительную ошибку: из-за экономии не взял с собой слугу и измучился, открывая и закрывая свои чемоданы. Достаточно сказать, что на какое-то время я даже оставался в несвежем белье, только чтоб избежать этой возни с чемоданами. Такое случилось, особенно в тех случаях, когда меня не интересовало, мог ли я встретить кого-то. С молодости я имею один недостаток: где бы я ни появлялся, стараюсь завязать дружбу с высоко-



поставленными лицами. А после брежу тем, что должен пожинать лавры.

Что до пейзажей, бесспорно воодушевивших бы и самого взыскательного наблюдателя (здесь имеются прекрасные виды), я не проявил ни малейшего интереса. Проявил, конечно, но что-то меня заставляло каждый раз уединяться в четырёх стенах моего номера, предаваясь мрачным мыслям. Не говоря уже о том, что меня преследует моя давнишняя мания сравнивать их с пейзажами моей родины. Признаюсь, что сейчас я вспоминаю о последних с тоской. Мне кажется, что они совершенно безлюдны без меня. Меня беспокоит мысль о том, что я никогда уже их снова не увижу. Если бы моё положение было бы иным, я совершил бы в те места ещё одно небольшое путешествие. В этот раз я бы постарался насладиться там каждой минутой, не так, как в прошлый раз, когда я всё время прятался. Меня очень изнуряют воздушные перелёты, совершаемые мною в моём воображении, над некоторыми утопающими в зелени пейзажами и особенно над одной местностью с какими-то водопадами.

Мучения другого рода я пережил при возвращении, после проживания в заплесневелых гостиницах, где клопы мне устроили настоящее кровопускание. Правда, я об этом раньше не говорил. Каждый вечер я находился в боевой готовности, имея при себе насос с инсектицидом. Но не стоит на этом заострять внимание, потому что в Африке мелких насекомых тьма-тьмушая. В поезде, в купе я вдруг испугался своего возвращения и начал убеждать себя: не возвращался же я в тюрьму. Я говорил себе это с иронией, представляя самые отвратительные тюрьмы, приходившие мне на ум в моём убежище, находящемся в гостинице, в первые дни после войны. Я возвращался на свою виллу, — говорил я сам себе.

Там я имел все удобства и меня ожидали преданные слуги. В конце концов самое худшее, что могло произойти со мной, — это наступление смерти, с которой я давно уже примирился. Всё же остальное не имело значения.

Я уже сказал себе много всякого такого. Но время тянулось, поезд полз, как черепаха. И всё же при въезде его в город, в то послеполуденное время, когда отражение солнечных лучей вместе с угольной пылью, летящей из топки, проникало

в купе через пустоты, образуемые при открытом жалюзи, я ужасно страдал от мысли, что я должен буду выйти на вокзал, находящийся напротив переднего двора гостиницы. К счастью, в этот час (где-то в половине третьего) я никого не встретил. Карета, благодаря телеграмме, посланной мною в момент отправления поезда, встретила меня у дверей вокзала, прежде чем кто-либо из гостиницы успел меня увидеть. Я приказал негру, и он повёз меня через негритянские кварталы, находящиеся в стороне от префектуры, белые стены которой я видел издали, а также от кладбища и от каждого знакомого мне уголка.

Излишне добавлять, что в течение всей поездки, как в поезде, так и в разных гостиницах, я избегал малейших контактов с людьми, кроме случаев, когда в этом была острая необходимость. В целом мои контакты свелись к нулю — я имею в виду здесь, в городе. Что до обедов, я почти ничего не ем. Потребность в еде я утоляю отварями. Больше не читаю: не могу сосредоточиться. Увы! Когда-то, когда я впервые приехал сюда и мы каждый вечер играли в карты и общались, я мечтал уединиться, чтобы почитать. У меня есть целые тома со склеенными листами. Представь себе, ты, читающий рукопись, что я живу как бы заточенным на своей вилле — не считая мои уединённые прогулки, совершаемые, в основном, утром в ту сторону джунглей, где попадаются только безлюдные тропинки и исключены встречи с кем-либо. Кладбище с тех пор я не видел, хотя во время совершаемых в моём воображении прогулок в его палисаднике, если можно так назвать эту бесформенную массу, я словно нахожусь там всё время. Я думаю о нём всё время. В мыслях я даже углублялся далеко вниз, под землю, именно так, как это делает червяк в увлажнённой почве.

\* \* \*

Чуть раньше я упомянул прогулки, совершаемые мною в джунгли. Я обнаружил для себя некоторые тенистые места, где царит полная тишина и можно провести время в полном одиночестве. Я хожу туда регулярно после приготовлений и одеваний, словно мне предстоит нанести кому-то визит. Я не заметил, как это случилось,

но во мне развилась какая-то особенная симпатия, я бы мог её назвать манией, но остановлюсь на слове «симпатия», чтобы не сказать умиление, к каким-то неприметным цветочкам, к сожалению, без запаха. До сих пор мне неизвестные, они удивляют меня. Не могу понять, как им удаётся выжить наполовину погребёнными под шляпками каких-то чудовищных грибов, под папоротниками и лишаями, которые я ненавижу, словно они существа одушевлённые. Обходя их с брезгливостью или наступая на них, я опускаюсь на колени и внимательно рассматриваю цветочки вблизи, через мою старую лупу, используемую мною прежде для установления подлинности некоторых редких предметов на аукционах. В то время, когда я совершал закупки товаров, я запасся достаточным количеством бумаги, словно мне предстояло жить в Ноевом ковчеге. Из неё я сделал альбом, на страницы которого приклеиваю те цветочки, которые мне нравятся больше. Так как у меня нет ни малейшего представления о ботанике, я им дал фантастические названия, напоминающие мне духи госпожи Герэн.

Но я подчёркиваю, что всё это несерьёзно. Держу пари, что если бы кто-нибудь наблюдал за мной, то увидел бы по моим движениям, выдающим человека отрешённого и подавленного, что всё это было не что иное, как латание дыр, что такими мерами я намеревался дать выход своему угнетённому состоянию. Знаю, что я побеждён. Что бы я ни делал, всё это только отсрочка конца. Об этом я думаю иногда перед моим окном, где часами смотрю, как бегут волны Вури, предаваясь воспоминаниям о прошлом. Хотя делаю я это произвольно, на какое-то время я забываю каждодневные мои мучения. Однако наступает минута, когда я понимаю, насколько нереально, чтобы эти смертоносные воспоминания могли умерить моё отчаяние. Измученный угрызениями совести, я делаю всё, что могу, чтобы выкинуть из головы своё прошлое. Но тогда происходит следующее: наступает безжалостное настоящее для того, чтобы сдавить меня ещё больше. Вот почему выше я сказал, что я совершенно бессилен себе помочь. Возможно ли слушать без содрогания о том, что после случившегося тем утром на балконе я провожу все ночи в страхе: а вдруг чьи-то пальцы будут щекотать в темноте, сатанинским

издевательским способом мои ступни, выступающие из-под простыни... Правда, такое не случилось ни разу. Но я страдаю так, словно это происходит каждый вечер.

Если бы было только это, и я страдал. Я постоянно слышу нашёптывания, даже когда прогуливаюсь в безлюдных местах, о которых я упомянул. Пока я поглощён чем-то, например цветочками, или погружен в воспоминания о прошлом, они меня не беспокоят. Но только я ненадолго прихожу в себя, сразу же возвращается шёпот и вместе с ним угрызения. Когда я говорю «шёпот», то имею в виду что-то вроде хрипов, нечленораздельных. Я слышу их и не понимаю, что хочет сказать говорящий, хотя и подозреваю, что он намеревается составить слова. Я уверен, что если бы мне удалось преодолеть свой страх, всё тот же, я бы понял, что он говорит. Я ясно слышу, как они произносятся зловещим и в то же время доверительным тоном. Вроде как:

Хра-фра-хру-вру-гру-фру.

Храх, хрух, хрэ, хрэх, грэх, фрэх, врэх. Врэх.

Грэ-фрэ-крах-грах-крэх.

Фрух, крух, грух, грах.

Фрэх.

Грааа, храа, краа, фрааа, врааа.

Фрэээ, хрэээ, грээээ. Грэээ, грээээ, грээээ. Фрэ.

Хрэ, хрэх. Фрах. Фрэх.

Храх, храх, храх. Грэх.

Впервые я их услышал на балконе. А потом такое произошло в одном безлюдном месте по дороге к парфюмерному магазину. С тех пор моя нога не ступала в те места ни разу. Я вышел тогда прогуляться после нескольких дней полного одиночества и голодания. В какой-то момент я почувствовал необходимость прочесть что-то вроде молитвы. Я сосредоточился на своих мыслях, бросив взгляд на вершины вековых деревьев, устремлённых ввысь. Через свободные пространства между ветвями разлинованные лучи солнца проникали, словно через окна церкви. Я помолился. И только я хотел нагнуться, чтобы сорвать один цветок, как услышал в ушах: хра, вра, хра, хрэ и всё в таком роде. Не помня себя, я подбежал к первому попавшемуся дереву, желая защитить хотя бы свою спину. Хрипы сразу же прекратились. Это продолжалось несколько секунд. Но

мне показалось, что это длилось вечность. То же самое случилось со мной в одной гостинице в глуби колонии как-то ночью, когда меня донимали клопы. Тогда я поднялся и, подойдя к окну, устремил свой взгляд в тёмную листву. С тех пор это стало частью моей жизни.

— 2 —

Сейчас, когда я пишу, на дворе час ночи. Один только Бог знает, когда, сжалившись надо мной, наступит сон. Но лучше не говорить об этом, потому что чем больше я придаю этому значение, тем хуже. Я это заметил. То же самое я говорю себе и насчёт нащёптываний. Если они хотят, пусть исчезнут. А если не хотят, так пусть остаются. Мне это надоело. Я слышу сейчас голос моего верного слуги. Я велел ему, и потому он спит ночами на циновке за дверью моего кабинета. Забыл сказать, что из окна моей комнаты видны только деревья. Иногда, раз в сто лет, я подхожу к другому окну, чтобы взглянуть украдкой в сторону города и сразу же отскочить испуганным, как маленький ребёнок. Дошёл до того, что не могу подняться со своего места, потому что боюсь, а вдруг, направляясь к двери, я что-то почувствую сзади, со стороны незащищённой спины. Когда я хожу по коридорам, даже днём, и вокруг нет никого из моих слуг, я передвигаюсь, как рак, как-то однобоко, почти видя тот конец, от которого я удаляюсь, и в то же время принимаю меры предосторожности, чтобы избежать любую опасность с конца, к которому приближаюсь.

За всю мою жизнь такое происходило со мной дважды: один раз, когда я был ребёнком, в летние месяцы, в дачном доме на побережье, когда мне случалось оставаться одному. В другой раз, в какой-то небольшой промежуток времени после войны, в самой гостинице, где я подозревал всех служащих, особенно тех, что приносили мне еду в номер на передвижном столике.

Я замечаю, что поведение моё последнее время во многом напоминает моё поведение в детстве. Чуть что, наостряю уши. Я реагирую на едва уловимые звуки какой-нибудь бабочки, какого-нибудь падающего листа, малей-

шего движения на стене какой-нибудь зелёной саламандры. «Я мог бы сказать, что слышу глазами», — читаю я написанное когда-то в дневнике. Глаза, которые смотрят таким образом, будто слышат даже движения, происходящие далеко, вне поля их зрения. Глаза, которые приобрели даже осязание. Сколько же раз они «прикасались», как я это пишу в моём дневнике, к тёплому пятнистому эпидермису саламандр.

Мой дневник последних месяцев полон всякого такого. Пониже пишу: «Пока таблетки действуют, я сплю и вдруг резко просыпаюсь, всегда в один и тот же час, что приводит меня в бешенство, от какого-нибудь скрипа доски пола или мебели, а сердце моё в потёмках готово разорваться. Я вынужден спать с настезь открытыми окнами. Но вкрадчивый шелест листвы, кажется, готов dokonать меня. Любой звук приводит меня в ярость. Похоже, что все эти движения уверены в том, что я не в состоянии заставить их остановиться. Я заметил, что воспринимаю их как что-то личное. Я ненавижу их, как ненавидел бы человеческие существа.

О, сколько подобного я могу ещё добавить. После последних событий именно такое состояние заставило меня бежать куда глаза глядят и к тому же потратить деньги на ту поездку, о которой я говорил. Но и там всё было то же, и даже хуже. Только однажды, когда мы проезжали поездом местность с водопадами и видели их с некоторой высоты, я почувствовал себя как бы парящим в воздухе и смог на несколько секунд совершенно оторваться от действительности. Но как только поезд снова стал набирать скорость, я опять впал в отчаяние.

Бывают минуты, когда я начинаю верить, что виноват климат. Но что это я говорю?

Разве я не верил какое-то время в ворожбу колдуна? Я говорю об этом, потому что это важно. Я прошёл и через это испытание, когда впервые обустроился на своей вилле. Но тогда, в компании друзей, жизнь моя была другой. Достаточно сказать, что этому колдуну как-то удалось заполнить весь мой дом полчищами скорпионов. В другой раз он наколдовал тучу над моим домом, над которым в течение многих часов шёл проливной дождь, в то время как я видел, что всюду вокруг дождя не бы-

ло. Сияло солнце. С тех пор неприятности захлестнули меня. Он заставил меня поверить, что все эти неприятности будут длиться целых семь лет. Но семь лет прошли вот уже несколько месяцев тому назад. Значит, это не то. Но как тогда можно объяснить, что всё случилось именно так, как говорил колдун? Вот тут мне помог бы мой друг Питер, разбирающийся во всём этом. Но уже поздно. Поздно также обращаться к книгам на эту тему. Я говорю «поздно», словно кто-то меня торопит, словно я не располагаю имеющимся временем.

– 3 –

**Я** чувствую, что ещё не расквитался с самим собой. И в самом деле, прочитав всё, что я написал о недавней моей ссоре с полковником (я писал дневник, где бы ни находился), признаю к великому моему стыду, что многое из того, что я записал как им сказанное, было не что иное, как моё лицемерие. Да и в рукописи, которую я завещаю быть прочитанной после моей смерти, я предстаю лицемером. Ну когда же, наконец, я исправлюсь? Веду себя так, будто впереди у меня целая жизнь.

Значит, так, в это время, когда я пишу, на дворе прекрасное утро. Я только что проснулся. Спал очень долго. Признаюсь, чтобы выставить его смешным в глазах будущих поколений и оставить о себе впечатление несправедливо пострадавшего, я во многих местах приписал ему слова, которые он не говорил. Я изменил также его манеру.

Признаюсь также, что он не говорил со мной так грубо. Может быть, только немного, из-за алкоголя. Наконец, надо сказать, что я его благодарю от всей души за снисходительность, проявленную им не только в ту роковую ночь, но и на протяжении целых семи лет. К тому же я больше чем уверен, что, если я умру раньше него (это, конечно, не тема для обсуждения, но кто знает), он будет сожалеть. И не только о моей смерти, но и обо всём том, что в действительности сказал мне в ту ночь. Он придёт на мои похороны, если, конечно, что-либо от меня останется, потому что я открыл для себя ещё один оригинальный способ умереть. Он

будет часто думать обо мне, месяцы и даже годы; продолжая жить, будет вспоминать с ностальгией те минуты, что мы провели вместе, особенно те, когда я впервые появился в колонии. Его ностальгия по тем дням превратится к тому же в настоящий кошмар, разве только, боясь возможного своего погребения в колонии, он однажды возьмёт и уедет. И тогда в Европе он испытает, вспоминая своё прошлое, то, что я испытываю в Африке, потому что расстояние приводит к разладу во всём.

Я пишу всё это не для того, чтобы заискривать перед ним, как бы надеясь, что он увидит написанное и пожалеет меня. Это исключено, потому что после одного происшествия, о котором я скажу позже, я храню все мои бумаги в сейфе, закрывая его на ключ, боясь, что кто-то из его людей будет в них рыться. Я не оставляю на столе ничего. Мою рукопись я выну из сейфа только тогда, когда его людям она уже не понадобится.

Я должен также отметить, что той ночью он употреблял некоторые слова, которые я не могу себе позволить передать на бумаге. Я не хотел говорить правду. Но я, идиот, забываю, что сделал всё, чтобы расквитаться прежде всего с самим собой. Такие выражения, как «идиот», я не должен произносить никогда. Я должен также примириться с самим собой. Только так, разрушив все свои принципы до основания, я успокоюсь, прежде чем придёт конец.

Если бы я на самом деле был последователен во всём, о чём говорю, то, в принципе, я должен был бы в этой главе прежде всего написать о том, что подвиг свой он совершил в действительности. Я это точно установил, не прилагая никаких усилий. Я узнал об этом случайно, в поезде, от одного совсем мне неизвестного человека, убедившего меня своей манерой рассказывать в том, что он не был наемным осведомителем.

Беседу начал я, вспомнив сцену со львом, в какой-то момент глядя в джунгли через окно. Если же быть до конца искренним, меня задело, что полковник счёл возможным играть со мной в такие игры. Меня задело также, что он не рассказал мне об этой истории раньше.

Да, меня это задело. Не скрою и то, что меня привела в бешенство его манера говорить со



мною всё это время иносказательно, сравнивая моё поведение с поведением Венсана. Ну вот, вместо того, чтобы быть ему признательным, я ещё и жалуясь.

Какие муки, на самом деле, я испытал в ту ночь... Но лучше обо всём по порядку. Я восстановлю все события без эмоций так, как они происходили. Сразу же, как только я увидел сквозь ветви, что автомобиль с префектом тронулся, я, ничего не соображая, вышел из бара, сопровождаемый недоумёнными взглядами запоздалых посетителей, пришедших также и с плантаций, начавших нас обсуждать. Затем спустился пешком до реки, до одного относительно безлюдного песчаного берега, недалеко от покрытого зеленью побережья. Эти последние свои действия я осознал только тогда, когда ушёл оттуда. Где-то в течение получаса я лежал на траве, не обращая внимание на ящериц, устремив глаза в небо, не думая совершенно ни о чём. Однако какой-то неопределённый груз давил на меня. Внезапно я поднялся, не зная зачем, и по тропинкам, казавшимися при лунном свете наполненными призраками, ускорив шаг, дошёл до переднего двора моей виллы, где с радостью определил по светящимся окнам, что Питер находится в библиотеке. Но, поднявшись, увидел, что его там нет и что, прежде чем уйти, он грубо рылся в моих бумагах и дневнике, лежавших на столе, даже не позаботившись положить их на место. Правда, он не взял с собой ничего. Сопоставив свои мысли с намёками, сделанными полковником относительно него, я с ужасом заподозрил, что он делал то же самое в каждый свой приход. Я вышел в коридор вне себя от ярости, надеясь увидеть его, быть может, спящим в своей комнате, но встретил одного из моих слуг, который с виноватым видом сказал мне (из-за чего на следующий день я его выгнал), что Питер ушёл несколько часов тому назад. С тех пор я не видел Питера ни разу.

После того как я прогнал слугу, сразу же на следующий день из окна мансарды, куда я не поднимался много лет, я увидел полковника, имевшего цветущий вид, проезжавшего в своём автомобиле с открытым верхом, очень близко от одной из задних дверей моей виллы.

Мне показалось, что он раскаялся и хочет попросить, по-видимому, у меня прощения. Эту мою убеждённость усиливало ещё и то, что, как было хорошо известно и ему тоже, автомобиль его въехал на частную дорогу, на дорогу, принадлежащую только мне, по которой не проехал ни разу ни один другой автомобиль. В последний момент я увидел, что он продолжает свой путь, не глядя на мои палисадники, которыми когда-то так восхищался. Он даже не взглянул вверх. Он чувствовал, что я за ним наблюдаю.

На следующий день дирекция гостиницы уведомила меня письмом, чтобы я пришёл сам лично забрать свои вещи, оставленные в номере, и заплатить какую-то смехотворную сумму в несколько франков, не погашённую мною из-за отсутствия мелочи в кармане, в полдень того рокового дня, когда я пообедал в ресторане после возвращения от госпожи Герэн.

Письмо было написано в небрежной обыденной манере. В нём приводилась какая-то жалкая цифра и стояла подпись бог знает какого невежды. Чтобы отплатить за оскорбление, я послал за моими вещами одного своего негра, босого, с листочком бумаги в руках, оторванным наспех от уголка какого-то блокнота, на котором под мою диктовку одним из моих слуг было написано, что негр уполномочен их забрать. Чуть ниже я отметил, что отсылаю им также необходимую сумму плюс тридцать два сантима. Последнее — для того, чтобы их унижить. Когда негр вернулся и я узнал от него, что с ним выяснял отношения не сам директор (я наказал ему, чтобы он настоял на этом), а какой-то заурядный чиновничка гостиницы, из тех, что роются в чужом грязном белье, меня это уязвило.

Далее последовали тревожные ожидания и уединение, вынудившие меня уйти куда глаза глядят, совершив поездку в глубь страны.

— 4 —

Моя исповедь подходит к концу. Сегодняшний вечер подарил мне полное спокойствие. Я освободился от всякого волнения и страха. Сейчас, в последнее время, нашёптыва-

ния прекратились совершенно. Я знаю, что и страхи, и нашёптывания, и подозрения появятся снова, но это меня не беспокоит. Сегодня весь день меня занимала Z... Я оказался во власти первых наших дней, дней, когда мы только познакомились. Я тотчас же отменил тогда все мои встречи, назначенные в том городе. Я слонялся по улицам как безумный, очарованный её неброской красотой. Я ничего подобного не встречал в своей жизни никогда. Мои мысли витают вокруг незабываемого вечера, когда, после того как мы договорились на вокзале, я пошёл к ней домой, чтобы её забрать.

Она жила на последнем этаже старого пансиона, в одной комнате с двумя другими девушками, так же гонимыми судьбой, о чём я догадался по их увядшим чертам лица. Они работали на какой-то прядельно-ткацкой фабрике. Пансион находился в отдалённом от центра квартале города, в низине, резко образуемой дорогой, упирающейся в тупик. За ним проходила железная дорога. Поезд создавал шум. В глубине дымили заводские трубы; на этом заводе, как я предположил позднее, работали её подруги. Несмотря на всю заброшенность, царившую вокруг, я был уверен, что этот квартал знал славу. Народ потянулся сюда после того, как здесь провели железную дорогу. Все дома снаружи были чудесно художественно оформлены. В сумерках, обрамлённые жёлтыми листьями деревьев, опавшими в октябре, они придавали всему району живописный вид. Это были дома 18... года, из тех запущенных, с пришедшим в негодность водопроводным оборудованием, которые можно было увидеть в кварталах такого типа. Штукатурка на стенах у входа, так же как и в комнатах, покрашенных в яркие цвета, во многих местах осыпалась; стены были в таких трещинах, что виднелся камень. Кнопка звонка находилась по левую сторону у входа. Но звонок, как я понял, не работал. Я вынужден был, крепко держа в руке листочек с её адресом, подняться без предупреждения на пятый этаж, что был последним, по винтовой лестнице, не мытой в течение многих лет и обезображенной глубокими ямками. Точнее, это была мансарда. Поднимаясь по лестнице, я слышал, как из других квартир доносились разго-

воры семейного толка, плач маленьких детей, смех, ругань.

Мою робость в момент, когда я оказался перед её дверью, невозможно описать. Я не знал, куда девать мои руки. Я ощущал себя смешным, ребячливым и в то же время сильно состарившимся, строгим. Мною овладел страх, вдруг за то время, что мы не виделись, она изменила своё решение и встретит меня с оскорблениями или по меньшей мере с такой холодностью, что обяжет меня незамедлительно уйти. Когда я постучал, услышал за дверью её поспешные шаги, что сразу же рассеяло во мне страх. Когда она открывала дверь, я понял, что она ждала меня с волнением, с минуты на минуту, собрав свои вещи у двери.

Её подруги, которых я раньше не заметил, с роскошными распущенными волосами, со следами ваты на них, только вернулись с работы. Они собрались помыться у раковины за какой-то сделанной на скорую руку перегородкой. Девушки извинились передо мной с застенчивой улыбкой. Обстановка, в которой жили все три, с их кроватями по периметру комнаты, унылый свет того часа, что-то ноющее в выражении их лиц, привели меня в состояние печали и стыда, словно я был лично виноват в их ужасном положении.

Была мука мученическая, когда, сдерживая слёзы и запинаясь, она расставалась с любимыми подругами. Как оказалось, ей не пришлось их увидеть более никогда. В последние минуты я был вынужден уступить просьбам одной из них, и мы присели на жалкое канапе, наклонённое в одну сторону, покрытое какой-то выцветшей кружевной тканью. В голове у меня промелькнула мысль взять с собой их всех троих. Но, подумав сразу же о скандале, который я вызвал бы в своих кругах (я представил, как все будут болтать обо мне), в конце концов я их не взял.

Она с радостью и в то же время с грустью, написанных на её юном лице, ярко выделялась среди них, как бы ни бедна была её одежда, которую она носила достаточно своеобразно: перешитая бархатная блузочка цвета вина бордо, цветастая юбка со складками из другой ткани и на ногах лакированные, с пуговицами туфли-лодочки. Всё это ей подарила

в своей гостиной какая-то дама, сама бывшая в молодости очень красивой. Она пригласила Z..., чтобы они отобедали вдвоём, желая полюбоваться её красотой вблизи. Так она ей сказала, когда однажды вечером, по дороге в театр, она остановила машину у железнодорожного вокзала, чтобы купить цветы, и, поражённая её красотой при свете газового фонаря, пригласила её к себе.

После слёз и прощаний и после прогулки в одноконном экипаже по освещённым улицам тем же вечером я устроил её в прекрасном номере гостиницы, напротив моего, из окон которого открывался великолепный вид на крепость, слева же празднично светился огнями в ночи центр города. Внутренняя отделка номера, однако, была ещё более прекрасной; сомневаюсь, что она бросила хотя бы мимолетный взгляд в сторону окна, по крайней мере, той ночью. Я ей наказал, насколько мог, более суровым отцовским тоном, чтобы она ничего не делала в течение недели, за исключением того, в чём была сильная необходимость, до тех пор, пока я не закончу свои дела и мы уедем. Я дал наказ и служащим, чтобы они немедленно сходили и купили ей всё, что она пожелает — из еды, сладостей, вещей, и чтобы расходы были записаны на мой счёт. Меня очаровывала неловкость, с которой она обращалась с некоторыми принадлежностями ванной комнаты, например, с краном умывальника, и её манера входить в лифт. Этот движущийся балкончик вызывал в ней страх. Когда мы поднялись с ней в первый раз вместе с горничной, чтобы проводить её в номер, она мне сказала, что ей кажется, словно мы, пройдя сквозь крышу, продолжаем подниматься к небесам.

Когда пришло время уезжать, после того как мы посетили большие магазины и купили ей изысканную одежду, так подходившую к её светлой коже и белокурым волосам, я убедил её в тот же самый вечер написать прощальное письмо её знакомой даме, что она и сделала, написав его своим детским почерком. Пока мы разузнали адрес этой дамы, мы замучались, потому что в суматохе предстоящей поездки она потеряла листочек и не могла вспомнить не только адрес с какой-то малоизвестной улицей, но также и её имя. Наконец,

расспросив официантов ресторана, в котором мы обедали, и каких-то посетителей, готовых нам помочь, вертевшихся там и разглядывавших нас, пока мы ели, мы нашли адрес. Мы наняли экипаж, потому что никто не знал номера её дома. Дом находился в глубине парка, посреди открытого пространства, где росло много деревьев, которых ещё не тронул цвет осеннего увядания, в отличие от тех, что были в аллеях. Полумрак таил покой. Нам нравился запах свежего воздуха. Сидя в карете, мы отметили номер дома, освещённый фонарями у ворот переднего двора, и намеревались уехать, чтобы отправить письмо почтой.

И в эту минуту нам пришло в голову не возвращаться сразу, а выйти из кареты и немного прогуляться по свежескошенной траве. Приятно было чувствовать, как она подминается под нашими ногами, словно поверхность персидского ковра. Когда мы собрались вернуться к экипажу, я сказал ей с некоторой ребячьей наивностью: может, поднимемся и навесит госпожу? Три соседних окна её дома были ярко освещены, в какой-то момент я различил в них головы. Хотя я ничего не слышал, так как мы находились далеко, у меня было ощущение, что там играла музыка и люди, которых я видел, разговаривали, смеялись и танцевали. Всё это привело меня в замешательство. И я сказал кучеру, поглядывавшему на нас сверху высокомерно, словно он был маршал, чтобы он поторопился.

Слышу и сейчас галоп лошадей, словно щёлкают испанские кастаньеты, ритмичное и монотонное цоканье, совершаемое подковами о мощённую камнем мостовую. Я ясно также слышу упругий, плоский звук, оставляемый кожаными вьючными сёдлами на дородном крупе лошадей, похожий на звук бритвы, оттачиваемой на ремне. Между тем мною овладела извечная лихорадка отъезда. Я был совершенно уверен, что мы обязательно опоздаем на поезд, хотя в кофейне вокзала, рядом с которой мы опустили письмо, мы были вынуждены ожидать его почти целый час.

Наконец подали поезд. Войдя в купе первого класса, мы застали там одну даму, надушенную и покрашенную с особым тонким вкусом, не говоря уже об её одежде и манерах. В мимолёт-

ном испуге я связал её образ с образом дамы из освещённого дома, который, как и всё, что её окружало, я отчётливо сохранял в памяти.

Когда поезд стал набирать скорость и помчался по тёмным равнинам, лёд между нами тронулся, и пока за окном мелькали прерывистые картины под открытым небом, как в кинематографе в первые секунды, когда рвётся лента, я ей рассказал кучу небылиц. Я сказал ей, что это моя дочь, что она жила в монастыре, что я её не видел много лет, с тех пор, как умерла её мать, на которую она поразительно похожа, и всё в таком роде. Всё это я рассказал настолько складно, что чуть было не поверил в свою собственную ложь. Что касается моей якобы дочери, она молча наблюдала за мной так, словно всё это не производило на неё никакого впечатления, словно всё это было истинной правдой.

Интерес, проявленный к ней дамой, с первых минут, как мы вошли в купе, вынудил меня сочинить ложь, чтобы одолеть панику, овладевшую мною, как только я её увидел. Между тем прошло немного времени, и, убаюканная ритмическими такатак-такатак-такатак, моя дочь, лёжа на бархатах, погрузилась в счастливый сон, в то время как мы вдвоём с любовью настоящих её родителей понизили голос и тихо разговаривали, чтобы не растрезвожить её сон...

Имея с собой много вещей, через некоторое время, на рассвете, дама сошла с поезда на какой-то пустынной станции, объявленной контролёром поезда, резко открывшим дверь и разбудившим мою дочь. Она отправилась провести несколько недель у себя на даче, находящейся недалеко от моря на бесплодной равнине, известной мне благодаря охоте в этих местах. Подальше был и наш собственный дом, разрушенный, как и многие другие, в яростных боях, произошедших в этих местах. Я всегда буду помнить то, как на перроне вокзала легкий ветерок — дуновение осенней зари — развевал её волосы, как она обернулась и послала свой поцелуй той, что стояла за оконным стеклом. Мы видели, как тут же некто, ожидавший её один, раскланявшись, взял её за локоть и повёл к чёрной маленькой карете, открытой с двух сторон, словно ведя её насильно, не успев

ещё привлечь её внимание. Когда она устроилась, как Екатерина Великая, чувствуя, что мы наблюдаем за ней через оконные стёкла, она снова обернулась и улыбнулась. Теперь уже достаточно отчуждённая от нас, она застегнула свой жакетик у поясицы и как бы с какой-то неприязнью к дрожи от холода что-то сказала кучеру. Лошади двинулись в путь в тот же момент, когда тронулся и наш поезд. Сидя в поезде, я смотрел через окно на местность, от которой мы удалялись. Я различал вдалеке, среди высокой травы, среди зарослей, свойственных этой местности, карету с хрустальным окошком сзади, похожим на эллипс, через которое была видна ещё её причёска.

\* \* \*

Внезапно меня охватили воспоминания, Вдалекие и пронзительные, о тех ясных осенних днях, когда мы ходили на охоту в этих местах с К. Н., Г. П., с убитым моим другом и с В.М. Ходил с нами ещё один прилипала. Дул такой сильный ветер, что мы, чтобы общаться, громко кричали. В купях деревьев эхом отдавался лай запыхавшихся собак, в воздухе стоял терпкий запах разнотравья. Растительность в этих местах невысокая, всюду кусты и вьющиеся растения, и изредка какая-нибудь роща. Но кроме стоячих вод, на поверхности которых ветер провоцирует дрожащую рябь то в одном, то в другом направлении, ничего больше. Мне нравится теперь сравнивать эти пейзажи с пасторальными сценами, воспроизводимыми в голубом или кофейном тонах известными художниками на тарелках, висящих на стенах моего антикварного магазина.

Я вспоминаю одно такое послепопуденное время, когда внезапно нас застал проливной дождь и мы, после долгих приключений, нашли убежище, взломав дверь, соседнюю с парадной в одном пустынном доме, вокруг которого не было ни души. Мы провели незабываемую ночь. Не знаю почему, но из моей памяти не изглаживается эта картина — четверо друзей, сидящих поздно ночью перед камином, подкидывают в него поленья. Угомонились мы где-то часам к четырём. Переговорили все глупости.



Даже К.Н., который мог часами молчать, в тот вечер, удовлетворённый, по-видимому, непредвиденным событием, заразился неудержимой болтовней. Эта болтовня привлекала меня, в основном, потому, что он постоянно обращался с дружескими колкостями к Г.П..., в то время как я был наблюдателем и подливал всячески масло в огонь, разгоревшийся между ними.

Утро, хмурое утро с морозящим дождем застало нас лежащими вповалку на диване. Мы поели дичь, экономно запивая её вином, которое нашли в одной бутылке на кухне. Дождь продолжал моросить всё утро. Как только он прекратился, мы, улучив удобный момент, решили уехать в город, не дожидаясь, пока он снова начнётся, хотя мы были готовы прожить такой компанией всю нашу жизнь. Из-за ночного пира горой мы испытывали лёгкое похмелье. Через застеклённую веранду, сидя напротив камина, перед тем как уехать, мы увидели, как в пенящемся бурном море какое-то чёрное судно борется с волнами.

Там поблизости морской берег переходит в мыс с обрывистыми скалами, недоступными как со стороны суши, так и со стороны моря, — ведь оно беспокойно даже летом. В том направлении даже при солнце виден туман, образованный чудовищной пеной поднимающихся в высоту волн, точно такой же, как у водопадов в джунглях. Туда, к скалам, которые я ещё мальшом воспринимал издали как прибежище, в ту их часть, что виднеется только со стороны моря, постоянно обращаются мои мысли. Той ночью, что я возвращался с побережья реки, не разбирая дороги, словно преследуемый, с ещё звучащими в ушах словами префекта, туда настойчиво возвращались мои мысли.

Сейчас, когда я пишу, я вспоминаю один смехотворный, пусть даже неосуществимый, план, созревший у меня сам по себе и занимавший меня до мельчайших подробностей однажды вечером в какой-то гостинице в глубинке. Любой поймёт, в каком состоянии я находился, если скажу, что он мне казался не вызывающим сомнений. Я полагал, что мог запросто тайком вернуться на мою родину (ведь меня там давно забыли) и на деньги, оставшиеся у меня в банке, подключить дове-

ренных мне людей, чтобы в этом невероятном месте мне построили домик. Имея только самое необходимое, я слушал бы целый день крики чаек и шум волн. Я видел себя взбирающимся по камням и вдыхающим с жадностью йод. Я сделал бы запасы на целый год. К тому времени, может быть бы, и умер. Я строил и другие планы. Большую часть своей пищи я бы обеспечил за счёт ловли рыбы и охоты... Большую часть времени я писал бы свои размышления о жизни...

Но это нереально. Такое решение я принял по возвращении из джунглей. Я знаю, что это невозможно... Я знаю свои настроения. К тому же в этом климате я превратился в развалину. Кто ходит на охоту, страдая ревматизмом? Наверное, я поеду в Америку и растворюсь в сутолоке, среди людей, в хаосе сумрачных дорог. Исключено, чтобы там кто-либо меня узнал. Буду жить в квартире, высоко, в каком-нибудь небоскрёбе, откуда люди будут мне казаться песчинками. Это мне пришлось в голову сейчас. Этот план тоже хорош... Надо его серьёзно обдумать... И однажды вечером, когда я буду ходить по улицам один, на какой-нибудь тёмной улице, быть может, из-за виноватого выражения лица, какие-нибудь преступники, проезжающие мимо меня на автомобиле, примут меня за другого и убьют меня... Если и это не случится, значит, мне суждено жить...

\* \* \*

Пишу по прошествии многих часов. Я вышел из дома. Стояла нестерпимая духота. Прогулялся к водяным лилиям. Не сорвал ни одной. В уме перебирал то, о чем написал выше. Нет. Нет. Я останусь здесь. Я должен, я обязан наказать себя. Жестоко и немилосердно. Однако боюсь, чтобы меня не обвинили в лукавстве, в какой-то корысти. Наверно, более правильным было бы оставить себя подвергаться мучениям шаг за шагом, не вмешиваясь совершенно. Но этого я тоже боюсь, как бы не переборщить. В конце концов я должен как-то это сформулировать. Надо сказать и горькую правду. Ведь есть на свете и другие, намного хуже меня. Так я думал лишь час тому назад,

когда любовался лилиями. Кто я такой, чтобы приносить себя в жертву? Мне не надо забывать, что это последние события привели меня в такое состояние, иначе я мог бы вычеркнуть из памяти всё, как когда-то...

И однако надо, надо... К тому же я не надеюсь больше ни на что. Осуществлю одно оригинальное наказание. Я начал думать о нём несколько месяцев тому назад. Прогоню своих слуг, чтобы не ждать помощи ни от кого, и прежде всего садовника, что был из первых, хотя вот уже много лет, как он оставил запущенными палисадники. Буду доедать оставшиеся у меня запасы, не выходя более из дома. Даже к лилиям не пойду. Оставлю растительность вокруг моей виллы как есть, чтобы она, разрастаясь, душила меня со всех сторон. Растения вырастают быстро, самое большое через какой-нибудь месяц... А когда они вырастут до такой высоты, что однажды приговорят меня к удушью и я не смогу совершить побег, к тому времени закончатся как раз и продукты. Самое большее — буду влачить жалкое существование с каким-нибудь бананом. За это время я здорово похудею от голода (ведь и сейчас ещё я ем редко), и душа моя изведётся от угрызений совести. Так и закончу. Самое главное, что я смогу избежать погребения рядом с другими на том отвратительном кладбище.

Но, конечно, было бы идеально то, о чём я говорил раньше. Было бы идеально, если б я

уехал на скалы... Но я знаю, что говорю глупости. Лучше перестать думать об этом, не терзаться и этой печалью. Достаточно того, что я выстрадал, жалея обо всём том, чего не смог осуществить. Достаточно мучений, испытанных мною... Насколько трудно и невероятно осуществление моей поездки на скалы, настолько оно мне кажется и лёгким. С другой стороны, не знаю, смогу ли я сделать то, о чем сказал, — я имею в виду моё собственное умерщвление растениями.

Я не знаю, с какими трудностями я встречу. Не знаю, когда умру. Не знаю, достаточно ли наказание, которое я для себя готовлю. Префект знал, что говорил, когда обещал меня оставить одного наедине с моими угрызениями совести. В своей исповеди мне не удалось, в конечном счёте, сказать о настоящих моих преступлениях, перед которыми рассказанные мною — это сущая ерунда.

Слышу шаги. Это идёт слуга с подносом. Не прикоснусь к еде. Не знаю только, смогу ли я начать голодание сейчас, с этой минуты... Не знаю... Не знаю...

□

### **Никос КАХТИЦИС (1926-1970) —**

*один из известных греческих писателей XX века.*

*Годы его литературного творчества приходятся на первые десятилетия после Второй мировой войны.*

*Родился и вырос в Греции, в 1956 г. эмигрировал в Канаду.*

*Автор рано начал писать — еще будучи школьником.*

*Но впервые его рассказы были опубликованы в 1947 г.*

*Потом последовала и крупная проза — «Приключения одной книги» (1965),*

*«Герой из Ганди» (1967), вновь переизданные в восьмидесятых годах после смерти писателя.*

*Повесть «Балкон» (1964) широко известна в Греции.*

*Н. Кахтицис работал над своей книгой на протяжении 10 лет.*

*Автор интересуется в «Балконе» внутренний мир человека, его психологическое состояние.*

